

Мы публикуем главы из книги Юрия Лощица “Кирилл и Мефодий”, готовящейся к изданию в серии ЖЗЛ, где 40 лет назад вышла первая книга Юрия Михайловича, посвященная Григорию Сковороде.

ЮРИЙ ЛОЩИЦ

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ: СТРАНИЦЫ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

ТОРЖЕСТВО И СМЕРТЬ В РИМЕ

К новому апостолику

В Риме, в папской курии, похоже, были уже достаточно осведомлены о громкой полемике, затеянной в Венеции Константином. Его противники, которых он только что во всеуслышание обличал в ереси и обзывал “триязычниками”, как раз и могли первыми проявить рвение, отослав в канцелярию папы свою жалобу на строптивца да заодно и на всю моравскую публику, его окружавшую. Пришлецы эти, слышно, нацелились дойти и до святого града. А не отправить ли их, вместе с несуразными славянскими буквицами, туда, откуда они и явились, – в паннонские болота?

Братья со своей малой дружиной терпеливо пережидали в Венеции приход хмурых и сырых осенних недель. Свет идёт на убыль, дни всё короче, ночи длинней. Но должно же, наконец, поступить из Рима подтверждение гостевой грамоты, полученной от папы Николая! Вызывает он их или передумал? Если вызывает, то в какие всё же сроки?

Зима почти подступила, когда узнали: встречи с папой Римским Николаем у них не будет. Да что там! Никогда уже не будет. Потому что 13 ноября апостолик скончался.

Это звучало для них почти как приговор. И во все месяцы ожидания они не очень-то надеялись на благорасположение жёсткого, волевого Николая, чья анафема патриарху Фотию побудила константинопольского первоиерарха, как недавно стало известно в Венеции, на ответную анафему. С нею, ответной, получается, Папа и ушёл в могилу?

Вот какие свирепые задули ветра между двумя столицами! И наступит ли затишье?

Кто сменит на престоле усопшего? Как долго продлится межвластие? Будет ли преемник так же неуступчив в своём отношении к Константинополю? Захочет ли принять миссию из Моравии в удобообозримые сроки? Или отложит встречу на неопределённое время, сославшись на чрезвычайную занятость?

Решили, что лучше всё-таки ждать здесь, в малоприветливой Венеции, зато при коротком переходе к Риму. Потому что возвратиться теперь в Велеград либо в Блатноград означало бы признать своё полное поражение – и перед Ростиславом, и перед Святополком, и перед тем же Коцелом.

И уж совсем непредвиденным по своим последствиям могло представляться возвращение братьев в Константинополь. Разве император Василий отправлял их в Моравию, а не убиенный этим Василием Михаил? Разве патриарх Игнатий благословил их на труд просвещения славян, а не Фотий, которого новый василевс, как сообщают, совсем недавно отправил в ссылку — за отказ признать его царское достоинство? И на место Фотия вновь поставил Игнатия.

Можно догадываться, что братья, как в обычае у них, не сидели и в Венеции сложа руки, в безвольном оцепенении. Им надлежало незамедлительно отправить в папскую курию соболезнование по случаю кончины Николая. Да присовокупить, что с благодарностью вспоминают они заботу почившего о задуманной достойной встрече святых мощей Климента, папы Римского. Что надеются они на милосердное внимание будущего высокого избранника Западной Церкви к просветительским трудам их миссии у славян.

Трудов же этих они и теперь не прерывали ни на день. Да пособит им и святой Климент исполнить всё задуманное до конца!

Каждые сутки творили они службы, — в своём жилье или в каком-то из греческих храмов города, — утешая слух звучанием славянской речи. И ловя себя исподволь на том, что звучит она от месяца к месяцу, от недели к неделе всё уверенней, возвышенней, мелодичней и при этом достоверней, будто слагали на ней Господа от самого Христова века.

Миновал месяц после кончины Николая. А ещё через несколько дней из папской канцелярии пришла весть, что его преемником 15 декабря 867 года избран семидесятипятилетний Адриан II.

Со стремительностью, необычной для его возраста, новый апостолик почти тут же подтвердил Мефодию и Константину вызов своего предшественника. Да, в Риме их ждут.

У Христовых яслей

Был самый канун Рождества Христова, праздника, который христиане Рима привыкли встречать с особой торжественностью. Часть этого великолепия вдруг досталась и нашим пришлецам.

Старенькому папе Адриану не вдвойне ли приятно и трогательно, что его восхождение на апостольский престол знаменуется не только урочным ликованием Рождества, но и неурочным шествием гостей, которые спешат доставить святому городу его великую святыню! Как-никак, они тоже грядут с Востока. То есть уподобляются теперь евангельским магам, несущим в ночи, на свет звезды Вифлеемской, свои дары.

Потому её, чаемую святыню, и приветствовать вышли заблаговременно, встречным ходом, ночью, со свечами и факелами, с благовонными кадильницами, с пением и трезвонами, с плачем умиления и воплями калек. Тысячные толпы растроганных римлян, будто волны, качались в бликах, дымах и заревах. Женщины, да и мужчины тоже, простирали руки, силась дотянуться, когда ярко освещённые носилки с заветным ковчегом проплывали, как во сне, мимо них. Гущу народа пронзали слухи о последовавших в эти самые часы чудесных исцелениях, об отверстых дверях темниц, откуда — не иначе как по заступничеству самого святого Климента — выходили в эту ночь на волю славящие небесного покровителя узники...

Похоже, безымянный художник, изобразивший на одной из внутренних стен базилики святого Климента сцену встречи мощей и препровождения их на вечное упокоение (именно в эту базилику), сам был очевидцем триумфального шествия. Очень уж правдоподобны в его исполнении эти огни и зарева под иссиня-чёрным пологом рождественского неба, эти парящие над головами кресты и хоругви; тут же и Адриан в праздничном пурпурном облачении, а по левую и правую сторону от него — два главных виновника события, Константин и Мефодий. Впрочем, почему два, если их трое? Разве он сам, новый апостолик, не сделал всё от него зависящее, чтобы событие состоялось, несмотря на недавнюю громкую распрю, случившуюся в венецианском синоде?

То, что ему об этом происшествии уже известно, выяснилось вскоре же. К немалой радости прибывших, мудрый старец подтвердил правоту доводов Константина. И пожурил иных из аквилейских клириков за их досадное буквоедство.

Кажется, и сами клички “пилатники”, они же “триязычники”, показались ему настолько удачными и уместными, что он их произносил даже с удовольствием, как изделия собственного остроумия. Право же, как могут не знать эти тугоухие “триязычники”, что уже многие народы христианской ойкумены славят Господа на своих природных речениях, составляют книги на языках своей паствы.

После такого благоприятного для братьев зачина вдруг, как нечто само собой разумеющееся, счастливо разрешился и вопрос, который больше всего их беспокоил: пожелает ли римский первоиерарх благословить дорогое для них детище – службу на славянских книгах для славян?

Разумеется, он готов благословить. Но он, дело понятное, и сам первым хочет увидеть эти книги, освятить их, услышать, как по ним читают и поют. А если гости, оказывается, уже в состоянии и весь мессал – то есть всю литургию – спеть на славянском, то не найти в целом Риме лучшего места для такой службы, чем базилика Святой Марии. Да, Санта Мария Маджоре! Ведь этот храм римляне почитают совершенно особо, называя его греческим словом Фатие, что, как им ведомо, значит *ясли*, потому что в Санта Мария Маджоре хранится такая трогательная, достойная умиления святыня – доподлинные ясли Богомладенца Христа, чудесным образом доставленные некогда из маленького Вифлеема. И не символично ли, что при нынешнем Рождестве Христове гости принесут свой славянский литургический дар прямо сюда – к маленьким яслицам Господним, уподобившись евангельским волхвам-звездочётам.

Esse magi ab oriente venerunt Hierosolimam...

Не так ли и по-гречески?

Ἰδὸν μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱερουσόλυμα...

А по-славянски как звучит?

Се волсви от восток приидоша во Иерусалим...

Ну что же, благолепно звучит и у славян!

У Адриана было ещё одно, сугубо личное побуждение к тому, чтобы торжественная встреча мощей Климента и служба на необычном языке, по необычным книгам состоялись именно под сводами Санта Мариа Маджоре: целые четверть века, почти до самой своей интронизации, он бы настоятелем этого храма.

*“Примим же папежь книги словенския, положи я в цркъви святыя Мариа, – читаем в “Житии Кирилла”, – пеша же с ними литургию”**. Тем самым агиограф подчёркивает: папа Адриан не только из рук в руки принял привезенные ему во свидетельство книги, не только возложил их для освящения на алтаре Богородичного храма, но и участвовал в той поистине судьбоносной для гостей службе.

В наши дни базилика Санта Мариа Маджоре, о которой идёт речь в житии, по-прежнему остаётся одним из самых почитаемых храмов Рима. Говорят, к базилике этой время оказалось милостиво, как мало к какому из зданий раннего Средневековья. Её первоначальные величественные пропорции, настенные мозаики, приалтарное углубление, в котором почивает вифлеемская святыня, – всё и сегодня предстаёт почти в том облике, в каком застали его солунские братья в рождественские дни 867 года. Но, конечно, почти никто уже теперь не вспомнит, что когда-то – единожды за всю их более чем тысячелетнюю историю – эти своды, парящие над двумя шеренгами мраморных колонн, оглашены были звуками славянского богослужения.

...Что ни день, Рим от щедрот своих одаривал братьев новыми высокими переживаниями.

Узнав, что моравская миссия нуждается для укрепления своей паствы в рукоположении новых священников и что в Рим вместе с братьями прибыли вполне достойные такой чести кандидаты, папа Адриан тут же отдаёт распоряжение посвятить избранных. Рукоположение поручено сразу двум епископам – Формозе и Гаудериху. Первый из них ценится здесь как искушённый

* “Житие Кирилла” и “Житие Мефодия” – древнейшие литературные произведения, написанные на старославянском языке. Здесь и далее они цитируются на языке оригинала, с сохранением большинства особенностей древней орфографии. Это создаст некоторые дополнительные трудности при чтении, но максимально приблизит читателя к восприятию самых первых в мире опытов литературной записи славянской речи.

советник по славянским делам. При покойном папе Николае выполнял он поручения, связанные с укреплением в Болгарии римской церковной юрисдикции. Он, слышно, как и венецианские “пилатники”, вовсе не был поклонником славянских книг. Но куда ж ему, Формозе, теперь деться? Служба есть служба.

Второй, Гаудерих, хорошо запомнился братьям в самую ночь их прибытия в Рим. Оказывается, он епископ города Веллетри, где кафедральный собор посвящён святому Клименту, потому что папа-мученик был родом оттуда. Даже самого краткого общения с Гаудерихом оказалось достаточно, чтобы почувствовать исключительность переживаний, объявших душу этого владыки. Он очень надеется узнать от братьев-солунян как можно больше подробностей об обретении драгоценных мощей, отъятых ими в Херсонесе у мрачного Понта. И уповаet на то, что хотя бы часть мощей будет милостиво вручена ему епископом для препровождения в веллетрийский алтарь.

Об этом епископе здесь рассказывают, что сразу же после своего избрания Адриан II обратился с просьбой к королю Людовику Немецкому, умоляя помиловать невинно томящихся по затворам христиан, которые пострадали при недавнем несправедливом нападении на Рим, учинённом неким воеводой Ламбертом из подвластного королю Сплита. И самым первым среди невольников апостолик назвал достопочтенного Гаудериха. Король не промедлил с ответом. Как и принято по случаю великих перемен в духовной либо мирской власти, тут же последовала амнистия.

Вот, значит, почему, входя в ночной, озарённый свечами, факелами и кострами город, братья слышали восклицания растроганных римлян о чудесном избавлении узников из тюрем. И вот почему так выразительно поглядывал в их сторону в те минуты и во все эти дни сам не свой веллетрийский епископ.

В “Житии Мефодия” по поводу рукоположения первых моравских священников из славян читаем краткое, но важное уточнение: “. . . и *святи от ученик словеньск три попы и два аногности*”. У агиографа не было ещё под рукой подходящего славянского слова для обозначения греческого понятия *аногност*, то есть чтец.

Поставление сразу трёх священников, имеющих право самостоятельно служить литургию, и двух чтецов, обученных выразительно, громогласно и нараспев читать Апостол, Псалтирь, часы и литии, придало свежую силу, новую уверенность малой греко-славянской дружине. Это их настроение, готовность ещё и ещё потрудиться и постараться, великолепно, будто по наитию, почувствовал их мудрый и ласковый покровитель. У Адриана в замысле, оказывается, была уже и следующая славянская литургия. И не где-нибудь на отшибе, а в самом сердце Церкви – во святая святых Западной церкви.

Да-да, он благословляет отслужить её в соборе Святого апостола Петра! Необходимо лишь, чтобы она прозвучала здесь достойно, как просят сами эти алтари, стены, своды, иконы и фрески, раки и саркофаги, мощевики и реликварии – свидетели и соучастники великих и бессчётных славословий Господу и святым Его. Вот для чего и пригодятся им три новых священника и резво-голосистые чтецы.

В тот век заглавный храм Рима ещё не был таким пышно-помпезным архитектурным дивом, ежегодным вместилищем миллионов любопытствующих туристов и затёртый между ними истовых паломников, каким мир знает его сегодня. Тот собор, по свидетельству старинных рисовальщиков и гравёров, выглядел скромнее. Тропы пилигримов к нему в IX веке едва-едва намечались. Но Мефодию с Константином, а особенно их ученикам после маленьких храмов велеградских и блатноградских, и даже после здешней Богородичной базилики Фатие, эта – Петрова базилика – представилась поистине необозримой. Можно лишь догадываться, какой внутренний трепет испытали в ответственные часы литургии два наставника и горстка их учеников под каменными кручами и сводами апостола Кифы. Это ведь его, Петра, однажды нарёк Христос “скалой” или “камнем”, то есть Кифой.

Хотя обедня и здесь благословлена славянская, как и предыдущая, но, можно догадываться, не дословно, не сполна вышла она славянской. Такое предположение вытекает из текста “Жития Мефодия”, где приведено письмо папы Адриана князьям Ростиславу, Святополку и Коцелу. В нём апостолик настоятельно просит, чтобы местные моравские клирики во время храмовых

служб Апостол и Евангелие читали сначала на латыни, а затем уже на славянском: “...первое чтут Апостол и Евангелие римскы, таче (потом) словенскы...” Вряд ли в кафедральном соборе Рима в столь памятный для моравской миссии день порядок чтений был иным.

А назавтра – ещё им труд и одновременно поощрение: нужно обедню свою отпеть в храме святой Петрониллы.

А сутками позже – в церкви Апостола Андрея! Но как же им и тут было не постараться! Как не прославить великого христианского первопроходца в земли скифов – славян Эвксинского Понта! Ведь это по Андреевым стопам пробирались братья восемь лет назад от Малого Олимпа к таврам и херсонянам, в южные славянские приграничья.

Вот как раскатилась их жизнь в латинской столице! Что ни день, литургия в ином храме! Будто старец Адриан дотошно испытывает их на верность церковному послушанию, на знание ежедневного чина служб. Не пропускают ли песнопений, положенных по календарю разным святым? Блюдут ли уставные тонкости, благолепие, мерность и величавость? Но разве Мефодий, воин и игумен, не знает цены строгому, неукоснительному монашескому послушанию? И разве Константин не способен за считанные часы до новой службы перевести с греческого песнопение поминаемому ныне святому?

Ареопагитские лекции

Пятую по счёту славянскую литургию папа Адриан благоволил братьям отслужить – ещё одна неожиданная награда! – в загородном храме Апостола Павла. Но и какое волнение сердечное! В этих стенах, над алой лампадой, знаменующей место казни великого “учителя языков”, предстояло им доказать, насколько верно усвоили они его заветы. Здесь они огласят из Апостола его, Павлово, послание. Здесь уместно будет напомнить в проповеди, что, по старому византийскому преданию, Павел ходил со словом о Христе и к иллирам, значит, в Иллирию, где соседствовали тогда, живут и ныне славянские племена сербов и хорватов. Не только Андрей ходил к славянам, но и Павел.

Служба была ночная, братья “имели себе в помощь” епископа Арсения, одного из семи наиболее приближённых к Папе иерархов, и его племянника Анастасия, библиотекаря при “Святом престоле”.

Упомянутый в “Житии Кирилла” Анастасий заслуживает здесь особого – и даже пристального – внимания. Его звание библиотекаря означало, ни много ни мало, что он руководит всей папской канцелярией и заведует архивом курии. Вряд ли такому осведомлённому человеку не было ведомо, что и Константин в своё время при патриархе Игнатии исполнял, пусть и недолго, сходную должность. В отличие от большинства нынешних насельников папской резиденции, Анастасий отлично знал греческий язык, постоянно упражнялся в переводах с греческого на латынь житий святых и самых разных документов византийской церковной канцелярии. Подобное “родство душ” вроде бы предполагало к взаимной открытости, к живому, увлечённому обмену мнениями по самым разным, подчас неожиданным вопросам.

Один из таких вопросов не заставил себя долго ждать. Однажды Анастасий вдруг открыл для себя, что, оказывается, Философ знаком с трудами самого святого Дионисия Ареопагита! Причём знаком не понаслышке. Он не только наперечёт знает названия ареопагитских трактатов-посланий. Он их ревностно, ещё со студенческой скамьи, изучал, он ими восхищён, он их готов цитировать целыми страницами, чуть ли не главами. И он их считает подлинно принадлежащими сокровенному – до недавних пор – богослову апостольского века, прямому ученику и последователю божественного Павла.

Да, в “Деяниях Апостолов”, где Дионисий Ареопагит упомянут в эпизоде выступления Павла перед членами афинского ареопага, о нём сказано лишь самая малость. Да, этот молодой и богатый завсегда судейских собраний вдруг, под впечатлением дерзкой и вдохновенной речи чужеземца, покинул своё почётное место и ушёл вослед за ним, чтобы вскоре стать верным последователем Апостола. Но “Деяния...” ни слова не говорят о Дионисии как о выдающемся, единственном в своём роде богослове.

По энергичным, цепким расспросам Анастасия Философ мог понять, что Рим всё-таки по отношению к Константинополю остаётся в некотором духов-

ном полузапустении. Но мог также заметить, что у его собеседника имеется к этой теме какая-то своя особая привязанность или даже своего рода *корысть*. Мы не знаем, насколько Анастасий был откровенен в их беседах, сообщил ли Философу, что в папской библиотеке уже есть один, “свой” кодекс Ареопагита, что этот латинский перевод был не так давно исполнен ирландским богословом Эриугеной, но что он, Анастасий, считает переложение Эриугены слишком буквалистским и потому очень надеется на возможность создания нового, более совершенного перевода.

Сообщил Анастасий всё это или нет, но в любом случае он не скрывал, что незнание большинством его здешних коллег греческого языка поневоле обрекает нынешних римлян на некоторую провинциальность. Хотя они и горят ревностью всячески навёрстывать свои отставания. Очень бы надо им в этом как-то помочь. Здесь лишь краем уха слышали о жарких спорах, вспыхнувших в Византии после того, как труды Дионисия два столетия тому назад вдруг, после долгого забвения, будто заново народились и тотчас же привлекли самое пристальное внимание богословствующих умов всего христианского Востока.

Суть этих споров, как понимал их Константин, к сожалению, больше всего вращалась вокруг подлинности трудов автора “Небесной иерархии”, “Божественных имён”, “Церковной иерархии” и “Мистического богословия”. Точно ли этот автор был афинянином, первым епископом города, свидетелем необыкновенного солнечного затмения в час распятия на Голгофе, последователем апостола Павла, собеседником евангелиста Иоанна, наставником Тимофея, того самого, которому и Павел направил два послания? Или же всё это — и афинское гражданство сочинителя, и епископство его, и поразительный своими подробностями рассказ о затмении — лишь присвоение чужой славы? Но тогда мыслимо ли, чтобы истиннейший христианин, каким он предстаёт в своих удивительных по отважности богословских созерцаниях, оказался при этом изощрённым мистификатором, а проще сказать, лгуном?

Сторона, сомневающаяся в принадлежности “Ареопагитик” Ареопагиту, исходила из того, что столь сложные по своему богословскому содержанию и утончённому слогу трактаты и послания никак не могли быть сочинены на заре христианской эры. Не была-де на ту пору ещё почва подготовлена, чтобы на ней возросли такие чудесные семена!

У сомневающихся были и другие доводы. Константин знал их в подробностях, не считая нужным что-либо скрывать. Ему было бы достаточно сослаться на комментарии к Дионисию проницательнейшего богослова-полемиста Максима Исповедника, жившего в седьмом веке. Но увы, в Риме его труд тоже не был известен. Толкования Максима по необходимости так подробны, что вся эта ареопагитская тема в устном пересказе для латинского слуха не окажется ли пробежкой ветра по воде?

Но разве и порыв ветра не даёт надежду на движение застоявшейся воде? Анастасий-библиотекарь горел желанием заполучить драгоценного собеседника на куда больший срок. Где же, как не здесь, в святом граде, где почивают мощи святых Апостолов Петра и Павла, найдутся и достаточное время, и достаточный круг людей, умеющих внимать и усваивать сказанное. Лишь бы гость милостиво согласился раскрыть в лекции (а лучше — в лекциях) доводы в пользу подлинности трудов знаменитого Дионисия. И сами высокие смыслы этих трудов.

Похвальная любознательность! Если б только касалась она, прежде всего, самих трудов! Но почему так часто бывает, что людей занимают не сами труды, а накопившиеся вокруг них кривотолки, слухи и рассказы? И плодятся они, похоже, лишь для того, чтобы забыть напрочь сами эти труды.

Видимо, посоветовавшись со старшим братом, Константин решил, что отнекиваться и уклоняться всё же неучтиво. До сих пор к ним здесь, паче всех ожиданий, относятся без венецианского брезгливого высокомерия. Принимают так уважительно, с такой непритворной лаской, что грех не отвечать взаимностью.

Что ж, он рад будет встретиться, а если надо, то и многократно, с теми друзьями почтенного Анастасия, чья любознательность устремлена к “Ареопагитикам”, к их вдохновенным свыше смыслам.

Каждый христианин если ещё не знает, то должен знать: Бог, сотворший вся и всех, заперделен и непредставим — как для воображения, так и для ума

людского. Потому Церковь и возбраняет в храмах иконные изображения Бога в отеческой ипостаси. От имени Отца здесь нас встречает Сын и все предстоящие и служащие Сыну. Но человек в своём любовном порывании к Творцу всё равно пытается хоть как-то представить *непредставимого*, приблизить к себе *запредельного*. И потому награждает его множеством высоких имён: Создатель, Господь, Единый, Троица, троичная Единица, Добро, Прекрасное, Премудрость, Истина, Вера, Любовь, Жизнь, Благой, Совершенный, Сверхсущий, Причина причин, Царь царствующих, Бог богов, Покой, Движение, Непостижимый...

Но сколько их ещё ни приводи, ни одно из имён не может насытить нашу жажду – приблизить к себе и постичь Его – Непостижимого. Всякое молитвенное обращение к Богу, всякое чистое размышление о Творце уже есть богословие, доступное каждому из смертных. Но в стремлении приблизить Господа к себе есть опасность кумиротворения. Поэтому опытный богослов никогда не посмеет усаживать Запретного за один стол с собою, превращать Его, как делали и делают язычники, в домашнего божка. Истинный богослов призван восходить к Нему через отрицание своих чувственных, вообразительных, фантастических или рассудочных представлений о сверхпостижимой причине всего сущего.

Как проходили ареопагитские лекции Константина? Цитировал ли он Дионисия по памяти, или в походном кожаном мешке Философа были какие-то конспекты или даже весь корпус сочинений афинского епископа? На возможность такого предположения указывает сам инициатор лекций Анастасий, говоря в одном из своих писем, что Константин “вверил памяти” римских слушателей “весь кодекс” Дионисия. Но что это значит: “вверил памяти”? Просто пересказал? Пересказы, как мы неоднократно убеждались, вовсе не были в правилах Константина, который по возможности предпочитал всякому устному изложению письменное. Можно ли пересказать, надеясь только на свою память и без неминуемого ущерба для памяти слушателей, главу Евангелия или самое краткое из апостольских посланий? Возможна ли в пересказе страница из “Ареопагитик”?

Упомянутое письмо Анастасия, к счастью, известно нам не в пересказе. Через шесть лет после кончины Философа папский библиотекарь отправил это письмо персоне высшего в пределах Европы ранга – французскому императору Карлу Лысому. Посылая корреспонденту в дар сочинения Ареопагита в недавнем (не собственном ли?) переводе на латинский язык, Анастасий с пиететом упоминает покойного своего собеседника-византийца как “великого мужа и учителя апостольской жизни”, который в бытность свою в Риме много потрудился, чтобы приохотить римлян к чтению трудов афинского епископа-богослова: “...Константин Философ, который при священной памяти папе Адриане II прибыл в Рим и возвратил тело святого Климента на своё место, вверил памяти весь кодекс часто упоминаемого и заслуживающего упоминания отца и указывал слушателям, сколь полезно его содержание; он обыкновенно говорил, что если бы святые, а именно первые наши наставники, которые с трудом и как бы дубиной обезглавливали еретиков, располагали написанным Дионисием, то, без сомнения, они рубили бы их острым мечом”.

Трудно определить, насколько здесь Анастасий точен в своём пересказе ответственного суждения Константина о значении “Ареопагитик” для последующей эпохи. Но, впрочем, по одной подробности мы, похоже, узнаём особый склад речи Философа. “Обезглавливать дубиной еретиков” – это его, Константина, образ, его притчевый ход мысли! Вооружась книгами Дионисия, борцы с еретиками стали бы и в самом деле куда искусней!

Иными словами, любуясь Дионисием, Философ не в последнюю очередь восхищён в его богословии красотой и мощью греческого гения. Разве для того греческие мыслители языческой, дохристианской поры возносились и изнемогали в исканиях истины, чтобы она навсегда оставила их в сумерках недоумений, ложных распутий? Ареопагит приходит как живое оправдание предшествующих поисков и прозрений. Греческий философский гений искал не зря. После Дионисия так же будут осознавать своё преемство великие Отцы Церкви – тот же любимый Философом Григорий Богослов, тот же Василий Великий.

Богословие Ареопагита – суровый упрёк языческому пантеизму. Да и любому пантеизму более поздних времён, упорно стремящемуся растворить Бога в сотворённом Им мире. Так, в подражание Ареопагиту, и сам Философ

терпеливо предлагал своим римским слушателям, по словам агиографа, “и двойное, и тройное объяснение”, когда видел, что не сразу всё понимают. А приходили-то к нему, как подтверждает житие, непрерывно.

Худая слава

Но лекции Константина вдруг иссякли. Нежданная-негаданная подступила остуда.

Сколько раз замечает за собой каждый поживший на свете человек, что нельзя слишком доверчиво поддаваться прибывающей в душе радости. Если плещет она уже через край, жди подвоха.

Дело не в том, что отошла в Риме черда славянских литургий. Не были же братья так самонадеянны, чтобы всех латинян, от епископов до брадобреев и конохов, разом влюбить в славянскую речь.

И ясно, что не мог же Константин до бесконечности произносить свои речи о сокровенном Ареопагите, как ни подбадривали его замороженным вниманием слушатели и сам неутомимый, тонкий в расспросах Анастасий.

Нежданное-негаданное неистошимо на выдумки. Вы-то, приезжие, не знали, но иногда мостовые римские, поры домов, крыши, стволы и хвоя пиний, обломки мраморных стел с их громадными, с головой младенца, римскими буквами, верхние одежды и обувь горожан вдруг покрываются лёгким жёлто-серым налётом. И тогда здешние бывальцы говорят со знанием дела: Африка... Или уточняют: Карфаген... Это как же нужно разогнаться африканскому ветру, чтобы поперёк моря пригнать сюда, на италийский берег, столько песчаного праха! В такие дни, наверно, даже соль в отцовской солонке древнего поэта Горация приобретала болезненно-лимонный оттенок.

Никуда не деться – стихия!..

Вот и с ними случилось. Вдруг стали никому в Риме не надобны.

Где Анастасий? Никто не ведаёт, где он. Где его дядя – епископ Арсений? И о нём молчат. Где сам старец Адриан? Но разве апостолик обязан докладывать всем и каждому, где он сейчас? Римский папа принадлежит всей Западной империи, а она – ему.

А что, если не от Африки вовсе, а от Константинопольского холма подул остудный ветер? Обычно насельники греческих монастырей Рима быстро узнают вести с Босфора. Слышно, что Игнатий, возвращённый в патриархи, на каждом шагу мстит низложенному и сосланному Фотию. Уже издал указ, отменяющий Фотию анафему покойному папе Николаю, и письмом с радостным сообщением о своём решении прислал сюда, Адриану. Что ж, если доложено Игнатию о том, что византийцы Мефодий и Константин сейчас находятся в Риме и рьяно обивают пороги папской канцелярии, то не мог ли он вдобавок известить апостолика: сии братцы – прямые выученики волка Фотия, стерегись их... Библиотекарь же первым прочитывает греческие послания, адресованные папе, прежде чем нести на доклад: ...стерегись их!..

Но не лучше ли им самим сейчас остеречься от предположений, хватких, как зелёная плесень? Что бы и кто о них ни говорил, громко или на ушко, они чисты – и перед патриархией своей, и перед здешней курией. Они не искали тут своей выгоды и не ищут. Они исполняли и исполняют свой труд, за который если и стыдно, то лишь потому, что он – при самом начале.

Исчезновение Анастасия и епископа Арсения вдруг обозначилось разом, и оно, как стало тотчас очевидно, с пребыванием моравской миссии в Риме совсем никак не соотносилось.

Стихия людской худой славы если вдруг прорвётся, то какой же ветер-африканец с нею поспорит?!

Не успел в марте месяце епископ Арсений получить от апостолика поздравительную буллу, расписанную многими похвалами, как епископский сыннок по имени Елевтерий взял да и выкрал по-разбойничьи дочь папы Адриана. И не одну, а вместе с матерью. Спасаясь от папского гнева и позора, Арсений спешно покинул Рим.

Но почему за дядей своим почти тут же исчез и Анастасий?.. Его бегство ещё пуше развязало языки горожанам, как правдолюбам, так и правдобрехам. Никакой он, Анастасий, не племянник! Он тоже сын Арсения!.. И в библиотекари-то попал совсем недавно, лишь с избранием Адриана. А до этого

кем только не был, где только не подвизался! И в кардиналы его поставляли, и аббатом монастыря побывал, и отлучали его, и предавали анафеме... И в бега не раз пускался, как жалкий шарлатан. Против двух пап интриговал, да так рьяно, что однажды и сам целых три дня посидел на папском троне да тут же и был спроважен...

На слух свежего человека всё это могло показаться дикими россказнями, в которых правды ни на малую лепту. Ведь до тех дней Константин видел совсем иного Анастасия. Но так ли уж спешил многознающий, желающий всё знать о своём собеседнике-византийце глава папской канцелярии рассказывать Константину о себе самом? Нет, вовсе не спешил.

Вот ещё новость: как бы ни чернили Анастасия римские всезнайки, а у покойного Николая I он, оказывается, был на хорошем счету. Рьяно помогал предыдущему Папе в намерении подчинить болгарскую церковь римской юрисдикции, а тем самым — в противодействии Константинополю. Значит, Анастасий или ничего не знал о фотиевской “родословной” солунских братьев, или очень искусно скрывал до поры своё знание их подноготной, видя, что перед ним не наивные простаки, а борцы опытные, заслуживающие более искусного с ними обхождения.

Неизвестно, где же он скрывается со своим родственником-епископом и что думает о гостях-славянолюбях на самом деле, и скоро ли объявится здесь. Или не объявится вовсе? В любом случае, им и теперь, при разразившемся посреди Рима скандале, нужно, как прежде, оставаться самими собой, как глубь морская остаётся непоколебимой при всех страстях, гуляющих на поверхности вод.

Их младенческое детище — славянское письмо — ещё не в состоянии стоять за себя без их ежедневных родительских забот. Значит, из Рима им никак нельзя впопыхах сниматься. Как из Венеции, так и отсюда негоже уйти ни с чем. Надо дожидаться, когда апостолик, оправившись от домашней смуты, вспомнит о них и о своём обещании благословить — не только устно, но и на письме — их дальнейшие труды в Моравской земле.

Инок

В знойном изнурении Рим трудно дышал на своих холмах и, казалось, чах от памяти о невозвратной имперской славе. В какую сторону ни ступи гость, на каждом шагу, как собиража попрошаек, ожидают его скалящие обломки колонн, искалеченных саркофагов, пустые оконные глазницы. Посреди разора и каменного хлама новенькие базилики, похоже, стесняются своей нарядности. И серым колоссам триумфальных арок неуютно торчать здесь в своём безадресном величии. Да, они угодили напоследок совсем не в ту страну. Скелетообразный Колизей будто предупреждает тебя: зевака, поди прочь, живым тебе отсюда не выйти. В его каменных подвальных лабиринтах по ночам, говорят, воют самые настоящие волки.

А потому мимо Колизея к маленькой тихой базилике святого Климента, где теперь упокоены мощи, обретенные братьями под Херсонесом Таврическим, лучше им идти в сопровождении опытных бывальцев.

Если же подберётся для гостей надёжная охрана, можно, отъехав за римские околицы, спуститься в катакомбы первых христиан. Они хоть и жили три века в нищете, в постоянном страхе облав, но в этих подземных улочках и закутках при свечах и факелах различаешь какую-то поистине идеальную заботу о скромных могильных нишах для почивших братьев и сестёр. И радуешься первым попыткам иконного и мозаичного письма в крошечных здешних молельнях и храмах. Сколь же силён был в этих людях внутренний свет веры! Чего-чего, а уж тщеславия, желания покрасоваться на виду Рима и мира они не ведали.

...Житие Философа упоминает, что постучал однажды к братьям в их римское жилище некий иудей, пожелавший что-то необычное сообщить о Христе. Константин не отказался его выслушать. *“По числу лет, — заявил гость, — Христос, о коем пишут книги и пророки, что родиться ему от девы, еще и не пришёл”*. Велика новость! Такое от его собратий уже тысячу раз слышано. Хотя пророков их отцы камнями забрасывали, они и пророков приплетут в строку. *“Ещё не пришёл”*, и всё тут. Они ведь ждали и ждут совсем дру-

гого. Ждут Мессию, вождя, который покорит для них весь мир, подчинит им все народы. Так и ждите, спорить незачем.

Но раз уж спорщик выставил какой-то свой временной счёт, Константин распахнул перед ним евангельскую главу с Матвеевым порядком поколений — от Адама до Христа. Зри, человече, и слышь. Говорят ли что-нибудь твоей памяти древние родословия, ведомые твоим предкам имена: кто кого породил, кто от какого был колена? Так зри же и разумеи: пришёл Христос! И зри, сколько лет уже минуло с той поры, как пришёл — “оттоле и доселе”. Убедил — не убедил, но собеседник спорить больше не стал, и даже благодарил, так что расстались мирно.

А между тем, новая гостя толкнула без звука дверь, прошла без спроса. И не куда-то мимо прошла, а напрямик — во внутреннее естество Константина.

Самоуправной хозяйкой вошла, без слов объявила: “Мой, весь теперь мой”. Неумолимая язвила его мука, такой никогда ещё, кажется, не терпел. Разве лишь Багдад пришёл на память, где он страдал внутренностями, и все свои подозревали, что отравлен.

Но не так в Багдаде было. Там подержала-подержала боль и отпустила. А эта лютовала в нём изо дня в день, так что от изнеможения и счёт дней начал для него размываться.

Но однажды пробрезжило освобождающее дуновение, и он пропел слабыми губами, едва внятным голосом:

“О рекших мне “Внидем во дворы Господни” возвесели мя дух мой и сердце обрадовася”.

Значит, решили, кто-то в видении посетил его и призвал.

Назавтра он самостоятельно поднялся с кровати, облачился во всё чистое. Захотел пробыть с братом и учениками целый день, и тихая радость смягчала черты осунувшегося лица. Радость освобождения слышна была и в голосе, когда выговорил:

“Отселе я ни царю слуга, ни кому другому на земли, но только Богу Вседержителю... Аминь”.

Так он сказал — обликом своим, облачением, словами, — что желает принять иноческий постриг. На следующий же день состоялось таинство его посвящения в монашеский чин.

Был Константин.

Стал инок Кирилл.

Как и положено, ему строгий устав предписывал остаться на срок совсем одному — в ночном безмолвии, наедине с молитвами, которые обращал к Творцу своему.

То были молитвы особые, для вхождения души в строй иноческого бытия. Но были и молитвы, впитанные им ещё с родительских уст. И первая из них, самая малая, самая прескромная и самая, как теперь отсюда видит, великая, бесконечная в своей всегдашней настоячивости: *Κύριε ἐλέησον! — Господи, помилуй!..* А рядом и молитва-благодарение, так часто людьми на радостях забываемая: *Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι! — Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!*

Так, через молитву, он издавна возлюбил язык, считавшийся в его кругу чужим. А теперь не может и дня прожить без него, молится и думает на нём...

*Господи, Боже мой,
иже вся ангельские силы и бесплотные чины составил
и небо распротер, и землю основал,
и вся сущая от небытия в бытие привел,
иже всегда и везде слушал творящих волю Твою,
боящихся Тебе и хранящих заповеди Твоя,
послушай и моей молитвы
и верное Твое стадо словенское сохрани,
к коему меня приставил,
ленивого и недостойного раба Твоего.
Избавляя вся от всякой безбожной и поганской злобы
и от всякого многоречивого и хульного еретического языка,
глаголющего на Тя хулы,
погуби триязычную ересь*

*и возрасти Церковь Твою множеством,
и вся в единомыслии совокупив,
сотвори изрядны люди,
единомыслящие о истинной вере Твоей и правом исповедании,
вдохни же в сердца их слово Твоего учения,
ибо они Твой дар.
Если нас приял, недостойных,
на проповедание им Евангелия Христа Твоего
и наострившихся на добрые дела
и творящих угодное Тебе,
и если мне дал,
то Твои есть и Тебе их возвращаю.
Устрой же их сильною Твоею десницею,
покрой их кровом крыл Твоих,
да все они хвалят и славят имя Твое,
Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.*

Так, в молитвенном сосредоточении прошло пятьдесят дней после пострига. Не раз, наверное, вспоминалась ему в эти недели тишина Малого Олимпа, где провели они с Мефодием, может быть, самые радостные годы совместных трудов, потому что тогда ещё невозможно было вообразить, сколько злоключений ждёт их именно из-за этих трудов, когда спустятся они со своей Горы.

Может быть, поэтому однажды, попросив Мефодия остаться с ним наедине, он вспомнил и Гору: “Были мы, брат, как два вола в одной упряжи, одну бразду тянули... И вот я на пахоте падаю, свой день скончав... А ты, знаю, так любишь Гору. Но не позволь себе ради нашей Горы оставить научение свое. Чем иным еще спасемся?”

Это было уже совсем незадолго до кончины монаха Кирилла. Житие повествует, что перед самым своим исходом он, собрав последние силы, облобызал брата, всех единомышленников своих и ещё раз напомнил молитвенно об их общем труде:

“Благословен Бог наш, иже не дасть нас в ловитву зубам невидимых враг наших, но сеть их сокрушися, и избавил нас от истления...”

14 февраля 869 года Мефодий сказал стоящим перед Кирилловым гробом, что брат его, оставивший для них всех такой великий дар и такой небывалый образ бескорыстия, прожил совсем немного — всего сорок два года.

Но как же это столь малое уместило в себе столь неисчислимое?

В Климентовой базилике

Прощание с Философом вдруг напомнило события более чем годовой давности, когда Рим торжественно встречал братьев. Напомнило просто-таки исключительным вниманием, которое вновь проявлял Адриан II, — но теперь уже к проводам младшего из гостей-византийцев.

Всё устройство отпевания апостолик взял на себя. Потребовал участвовать в прощании с новопреставленным не только подопечное ему духовенство, но и всех-всех римлян. Просьба прибыть касалась также священников и монахов греческого обряда, что немалым числом жили в городе. Агиографы Кирилла приводят важную подробность события: Адриан повелел *“со свещами сшедшеся пети над ним (Кириллом. — Ю. Л.) и сотворити провождение ему, якоже и самому папежу”*. Отпеть монаха-чужеземца, к тому же совсем недавно постриженного, отдав ему почести, достойные римских пап, — это что-то да значило!

Мефодий и его спутники снова оказались на виду у всего города.

Будто и не было перед тем нескольких месяцев тягостной остуды по отношению к ним со стороны придворных клириков.

Улучив минуты для доверительного разговора, старший брат попросил у апостолика благословения на неблизкий путь в Вифинию:

— Мать наша взяла с нас клятвенное обещание: кто бы первым из двоих ни отправился на Господний Суд, пусть второй брат перенесёт его прах в наш монастырь и там предаст земле.

С участием выслушав Мефодия, папа отдал распоряжение своим гробовщикам: опустить тело усопшего в раку, приколотить её крышку железными гвоздями и так держать неделю, нужную для сборов в путь.

Но тут у епископов римских возник свой довод:

— По скольким бы землям ни ходил сей честной муж, но ведь Господь его к нам привёл. И у нас принял его душу. Значит, достойно ему у нас лежать, а не где-то ещё.

На это расчувствовавшийся старец Адриан изрёк:

— А если так, то за святость его и любовь повелеваю нарушить римский обычай и погresti его в гробу, что для меня самого вытесан, — в соборе святого апостола Петра!

Видимо, этот жест апостолика показался всем окружающим даже слишком решительным.

— Если уж вы меня не послушали, не отдали мне его, — ещё раз заговорил Мефодий, — и если вам моё предложение будет любо, то пусть положат его в церкви святого Климента, с мощами которого он и пришёл сюда.

Мнение вифинского игумена своей мерностью как-то разом устроило всех.

И вот настал день, когда в скромную базилику, алтарь которой год назад принял Климентовы мощи, притекло шествие с ещё одной ракой. Её уместили в тёсаный из камня гроб — по правую руку от алтаря.

“Житие Кирилла” заканчивается словами о том, что в церкви “начаша тогда многа чудеса бывати”, и римляне, видя их или слыша о них, с ещё большим почитанием и трепетом приходили сюда и вскоре же написали икону с его изображением и возжгли пред нею лампаду, светившую и днём, и в ночи.

Так в стенах малой римской базилики началось местное почитание. И самые первые славянские молитвословия, обращённые к Кириллу, Мефодий и его спутники пропели именно здесь, хваля за всё Бога, “Тому бо есть слава и честь в веки. Аминь”.

СИРМИУМ

Дознание библиотекаря

Мефодию и после похорон младшего брата нельзя было ни на день отлучаться из Рима. Хочешь — не хочешь, но жди здесь. До тех самых пор жди, пока не определится Адриан II в своём отношении к дальнейшей судьбе моравской миссии. Ведь одно дело — трогательное своей чувствительностью внимание, проявленное старым апостоликом по случаю кончины Кирилла. И совсем другое — клубок противоречивых оценок, гуляющих по коридорам папской канцелярии в связи с совершённым двумя греками переворотом. А чем же ещё, как не переворотом, могла считать римская курия неожиданный-негаданный перевод моравской церковной практики на “народный”, то есть славянский, язык? То, что год с небольшим назад, во время Рождественских славянских литургий в Риме, многих растрогало своей экзотической необычностью, варварской свежестью, теперь оборачивалось для протрезвевших умов какой-то головомолной стороной.

Да, здесь живут люди имперского кругозора, — не какие-то там узколобые “триязычники” и “пилатники”, с которыми покойный Философ спорил в Венеции. Римляне не понаслышке знают, что сирийские христиане издавна служат в храмах на своём языке, а египтяне-копты — на своём, и армяне с грузинами — на своих наречиях. Но это где-то далеко — на Востоке. А здесь, на Западе, с самого начала повсеместно утвердилась служба на благородной латыни. И эта традиция аксиоматична. Она равно благовоспитывает франков, галлов, бриттов, испанцев. Какая смута вспыхнет, если кому-то из них взбрёт на ум поддаться восточной моде и завести своё богослужение на местном языке, ну, хотя бы на немецком?!

Мефодий, опытный духовный стратиг, предчувствовал: и в Риме, как и в Константинополе, — всегда на одно мнение отыщется другое. Рим образцово противоречив, подстать остальному миру. Папа Адриан, придя к вла-

сти, похоже, захотел внятно изменить стиль отношений как с настырными наследниками Карла Великого, так и с Византией. Значит ли это, что до единого исчезнут в курии приверженцы жёсткой имперско-церковной политики Николая I? И Мефодий, и покойный брат видели: нет, такие люди не исчезли и не исчезают.

В середине лета 869 года в Риме вдруг объявился, возвратясь из своих бегов (или из ссылки?), Анастасий-библиотекарь. Завидная невозмутимость этого человека, который держался так, будто никуда и не отлучался, по-своему даже восхищала. Возобновилось, словно на прерванной только вчера приятельской беседе, его общение с Мефодием и его спутниками. Всё тот же дружелюбный тон, всё то же сочувственное внимание к нерешённой по сию пору судьбе миссии. Но кто же перед ними на самом деле: ласковый сопереживатель или искуснейший соглядатай? Непросто было свыкаться с двойственностью, исходившей от библиотекаря.

Похоже, никак не могла римская курия долго обходиться без помощи этого блестящего канцеляриста, единственного тут переводчика, безупречно владеющего греческим языком. Нужда в нём была ещё и потому, что всё заметнее обозначалась трещина в отношениях курии с болгарским князем Борисом-Михаилом. Тот уже не скрывал намерения вернуться под покровительство цареградского патриархата. Видимо, и в запутанных болгарских делах опыт Анастасия, как деятельного сотрудника покойного папы Николая I, снова срочно понадобился. Не случайно всего через месяц с лишним после своего возвращения Анастасий отбыл порученцем Адриана напрямик в столицу Византии.

Мефодий вряд ли мог знать, что одним из заданий, полученных библиотекарём, было выяснение подробностей открытия братьями мощей Климента. Тем самым Анастасию, по сути, предстояло удостовериться в подлинности самих мощей. Вскоре в Константинополе он встретился с митрополитом Смирнским Митрофаном, который во время обнаружения и прославления останков Климента как раз находился в Херсонесе.

Владыка Митрофан, на удачу, знал событие во всех важных для библиотекаря деталях. Его свидетельство для Анастасия представляло особую ценность ещё и потому, что митрополит в Херсонесе находился не по своей воле, будучи сослан туда патриархом Фотием. Так что никакого “Фотиева следа”, неприятного для репутации солунских братьев, как убеждался дотошный римлянин, история мощей не содержала.

С итогами своего дознания, благоприятными для памяти покойного Философа и для чести его старшего брата, всё ещё ждущего своей участи в Риме, Анастасий спустя полгода и вернулся в канцелярию. Но сам по себе факт дотошной проверки красноречив. В старом Латеранском дворце, вокруг папского престола, и после кончины Кирилла у моравской миссии оставались свои противники.

Между тем, из Константинополя дошла весть о сильном землетрясении. Причинён ущерб многим строениям города. “А что София?” – тревожный этот вопрос среди греков, обитающих в Риме, звучал то и дело. Как не вспомнить о Софии, когда ты далеко от неё, и она стоит перед мысленным взором как оплот и образ всего града, всей державы?.. Выяснилось, что и Софии нанесён урон. Хотя подземные толчки пощадили сам купол, но сильно повреждены внутренние изображения купольной сферы. Впрочем, многие увидели в этом обрушении перст Божий, вразумляющее знамение. Потому что осыпался большой мозаичный крест, тот самый, что когда-то, при иконоборческих самоуправствах, наспех закрыл, замуровал собою лики Христа и херувимов. И вот же – на месте осыпей, только-только прах развеялся, на сводах вновь, будто подтверждая незыблемость истины, проступили и лик Вседержителя, и образы крылатых сил херувимских.

Но несравненно больше волнений, толков, пересудов и всякого рода предположений вызвало в греческой колонии Рима другое византийское событие 869–870 годов.

Собор намерений

5 октября в Константинополе при участии нового императора Василия Македонца, патриарха Игнатия, папских легатов (в их числе видели и Анаста-

сия-библиотекаря) открылся Собор, очередной по счёту после семи Вселенских. Ему римская курия намеревалась придать совершенно исключительное значение, заранее определив его в своём сценарии как “Восьмой Вселенский”. Для заявки на такой громкий исход в Риме заблаговременно, у престола Апостола Петра, созвали свой Поместный Собор. Его участники единодушно анафематствовали отстранённого василевсом Василием Фотия и сожгли кодекс, содержащий Фотиеву анафему Николаю I.

Век был таков: анафема анафему догоняла и в огне спешно пожирала. Легаты отбыли в Константинополь с поручением произвести подобное же картинное сожжение и там, на Соборе Вселенском.

Адриан II с нетерпением ждал церковного триумфа всемирного звучания. Собрание восточных патриархов, подтвердив правоту Западной Церкви в её приговоре Фотию, тем самым наконец-то признает духовное главенство апостольского престола. Рим жил надеждой: этот – *Восьмой* – станет последним в череде, итоговым, всё и вся завершающим. И он на веки вечные утвердит незыблемый авторитет первой кафедры всего христианского мира.

Время самое благоприятное. Император Василий, судя по его первому же письму апостолику с отчётом об изгнании Фотия, будет податлив. Печать убийцы своего предшественника, наверняка, отягчает душу нового василевса. Ему явно хочется выглядеть во мнении Востока и Запада спасителем имперской чести – от дурной славы Михаила III, беспутного пьянщика и кощунника на троне. Василий надеется на моральную поддержку Рима. И он вовсе не прочь завести дружбу с династией сильных Каролингов. Не зря тому же расторопному Анастасию апостолик доверил ещё одно важное поручение. Под самый конец работы Собора, растянувшегося чуть не на полгода, библиотекарь срочно отбыл с Босфора. Но вскоре вернулся туда с делегацией королевских послов – для заключения договора о женитьбе Константина, старшего сына Василия, на дочери Людовика Немецкого.

Вести о работе Собора, раз от разу поступавшие в Рим, не могли не волновать и обитателей здешней греческой общины. Мефодий с учениками впитывали молву, чаще скупую, чем изобильную, с особой жадностью. Там, в стенах Софии, где проходили сейчас заседания, косвенно решалась и их участь.

Нет, что-то в стольном граде ромеев сразу же пошло вопреки замыслу римской курии. Начать с того, что состав собравшихся был поразительно мизерен. Кроме самого Игнатия, эту встречу не почтил своим присутствием ни один из восточных патриархов. Не явилось и большинство митрополитов и епископов. Устроителям пришлось срочно заполнять пустующие кресла множеством придворных чиновников. Ну, разве такими были настоящие Вселенские Соборы, кипевшие многолюдством, сверкавшие именами самых маститых и достойных посланцев своих епархий? Какое-то вялое театральное действие вместо Собора!.. Латинские легаты к тому же сразу выставили присутствующим свои доставленные из Рима “формулы”, напоминавшие правила примерного поведения, которые все обязаны были подписывать. И чем же сии скрижали подписывать? Обычными чернилами? Или киноварными – из чернильницы самого василевса? Прямо какая-то присяга на верность папам – и нынешнему Адриану, но, особенно, покойному Николаю.

Даже приверженцы Игнатия, даже императорские чиновники, говорят, опешили от такого натиска. Когда речь дошла до анафемствования Фотия, с мест послышалось возмущённое: “Отсутствующий да не судим будет!”.

Тогда, на пятое по счёту заседание, опального патриарха, несмотря на его нежелание участвовать в действе, доставили принудительно. Рассказ о том, что происходило дальше, Мефодий не мог слушать без волнения.

Чтобы унижить Фотия, ему велели стоять у самого входа в зал, за спинами присутствующих мирян. Легаты, никогда не видевшие Фотия в лицо, всполюшились:

– Кого это там ввели?.. Кто этот – последний?

– Это и есть Фотий! – ответил сановник василевса.

– Тот самый Фотий? – вскричали, как со сцены, легаты. – Тот самый Фотий, что причинил столько злостраданий Римской Церкви за семь лет своего самоуправства?! Тот, который столько бед нанёс и Церкви Константинопольской, и всем Церквам Востока?!

Зал притих. Молчал и Фотий.

После подробнейшего перечня его вин потребовали, чтобы подсудимый защищался. Все снова обернулись к Фотию.

– Бог слышит мой голос, если я и молчу.

На это легаты изрекли:

– Твоё молчание не спасёт тебя от осуждения!

Фотий снова сказал:

– Но и Иисус Христос своим молчанием не избегнул осуждения...

Многие возроптали:

– Как смеет святотатец сравнивать себя с Христом?!

Это было всё или почти всё, что, по словам разных рассказчиков, произнёс на суде Фотий. Но даже такого изложения хватило Мефодию, чтобы растроганно оживить в памяти облик опального патриарха. Покойный брат возлюбил Фотия ещё со студенческой скамьи. Почитал его как искуснейшего наставника, мудрейшего из мирских. Оба успели оценить его и как пламенного защитника православных догматов, когда Фотий, что бы ни судили и ни рядили о нём теперь, был, – по воле свыше, а вовсе не по своему тщеславию, – призван к патриаршему служению. Теперь же молва открывала Мефодию в этом человеке новое свойство – мудрость выстраданного молчания. Такого молчания, что красноречивей любых речей.

Из других известий ободрило то, что сразу три епископа, несмотря на давление василевса, отказались на соборе судить Фотия. Один из них, Иоанн, митрополит Ираклийский, сказал во всеуслышание: “Кто анафемствует своего епископа, да будет проклят!”.

Однако латинские легаты постарались исполнить задание курии до конца. Состоялась процедура анафемствования, с непременным (уже вторичным) сожжением прямо здесь, в зале заседаний, неугодных декретов за подписью Фотия, вытщенных из патриаршего архива. Внесли медную жаровню, развели в ней огонь, принялись метать в чадную пасть одну за другой рукописные хартии.

Дьякон-грек грозным рыком возгласил брань проклятия, превыспреннюю, к тому же почти стихотворную:

Фотию придворному и узурпатору анафема!

Фотию мирскому и площадному анафема!

Фотию неوفиту и тирану анафема!

Схизматику и осуждённому анафема!..

Изобретателю лжей и сплетателю новых догматов анафема!..

Даже “новым Иудой” напоследок назвали.

Какие бы бодрые отчёты ни слали легаты в Рим о своих победах, Собор явно проваливался. Никто на нём не заикнулся вслух оспорить всем известные доказательства Фотия в защиту Символа веры, в текст которого западные иерархи во главе с покойным Николаем пытались было протащить своё тощее изобретение – *filioque*.

Говорят, сразу по закрытии Собора, когда василевс пригласил легатов во дворец, вдруг обнаружилась вся мнимость их успехов, достигнутых в Константинополе. Неожиданно в числе присутствующих они увидели... послов от болгарского князя Бориса. Послы эти от имени своего государя во всеуслышание представили императору и патриарху просьбу принять народ болгарский под свой духовный покров, прислать в страну византийских иерархов и священников. Получалось, что все многолетние труды Николая I, так желавшего укротить болгарскую стихию юрисдикцией апостольской кафедры, обернулись прахом. Получалось также, что эти хитрые греки, Василий и Игнатий, пошли навстречу Риму лишь в деле Фотия, а соседку-Болгарию – эту капризную то ли страну, то ли орду – и не думали никуда от себя отпускать.

Напоследок, уже в марте 870-го, когда легаты везли в Италию реляции “Восьмого Вселенского”, было на них нападение морских разбойников, по слухам, славян. Скарб легатов, подарки от василевса, сами хартии с подписями – всё бесследно исчезло. Да и о судьбе своих порученцев Адриан ещё многие месяцы ничего не знал.

Но, как догадывался Мефодий, самое главное старый апостолик знает

и без документов кривоватого Собора: Византия дала слабину лишь по видимости. Ну, сожгли свитки, позорящие имя Папы Николая. Но что до стараний покойного Папы к укреплению всемирного первенства римской кафедры, — тут византийцы не то что не уступили ни шагу. Тут они, как показал новейший разворот болгарского дела, прямо землю рвут из-под ног у римлян.

Есть косвенные подтверждения тому, что Анастасий Библиотекарь по своём возвращении в Рим как ни в чём ни бывало снова встречался с Мефодием. И не раз. А при встречах, возможно, даже рассказал старшему солунянину о своей беседе в Константинополе с митрополитом Митрофаном, тем самым, которого братья знали ещё по Херсонесу. Можно догадаться, что Мефодий в таком внимании Библиотекаря к подробностям открытия мощей Климента постарался не заметить ничего зазорного и для себя обидного. Пусть они проверяют и перепроверяют. Вправе же страна, наконец, обретшая свою святую, узнать о ней как можно больше.

Но тема эта вывела Мефодия к раздумьям о действиях, гораздо более для него важных и неотложных. Пока в Латеранском дворце обсуждают или, что скорее всего, затягивают обсуждение судьбы моравской миссии, у него есть время привести в должный порядок записи, оставшиеся от брата. Одно дело черновые пробы и начатки новых богослужебных переводов. Они почти всегда под рукой у него и его помощников. Через эти писания они словно продолжают ежедневные свои беседы с Кириллом, ища у него советов, подсказок, радуясь маленьким озарениям, когда вдруг выясняется в пометах Философа смысловой оттенок отдельного славянского слова, предложения.

Но ведь есть и другое Кириллово наследие. Может ли Мефодий пренебречь им? Оно тоже — в тетрадях, тетраджах, свитках, на листах, а то и на малых пядях пергамена. Но лишь отчасти в них. Хотя Философа отличала образцовая верность письменному свидетельству как таковому, никак не успевал он всё, достойное памяти, запечатлеть на письме. Как многое из его жизни ушло в тишину, прошлестев напоследок, будто ветер в камышах! Тем более важно теперь обозреть и заново оценить уцелевшее.

Благо, невредимы записи, из которых снова, как сквозь мглу, проступают следы важнейших путей и испытаний брата. Слава Богу, сбереглись записи его прений с арабами в Багдаде. Есть, похоже, в виде домашней заготовки, и наброски спора с иконоборцем Аннием. Впрочем, брат мог сделать эту запись не до, а сразу по следам полемики.

И, конечно, особо важен, даже по весу своему, черновик прений Константина с хазарскими иудеями и мусульманами. Это же целый трактат! О нём думать ещё и думать...

А вот и она — история о нахождении мощей Папы-мученика! К счастью, такая замечательно подробная! Рукопись вполне можно показать и Анастасию. Пусть увидит дотошный канцелярист, с какой ответственностью покойный брат описал всё, что связано было с обретением святых останков. Да задно пусть лишний раз поупражняется в чтении греческой скорописи. Ведь все свои рабочие записи, не касающиеся впрямую славянской темы, Константин вёл обычно по-гречески.

Ученики поговаривают: эти рукописи Философа нужно, не откладывая надолго, тоже переводить — для назидания славянских умов. Пусть всяк славянин, имея уши, узнает об их учителе Кирилле те наставительные и драгоценные подробности его жизни, что изложил он сам. Если сохранил их без изъяна, значит, волеизъявлением своим подсказывает: и вам тоже понадобятся.

Уже не раз, сначала как бы исподволь, вздохом и намёткой, звучало в их кругу рядом с привычным “жизнь” и это особенное слово, своим смыслом дающее животу человеческому какое-то совсем иное пространство, целительное дыхание.

Житие... Что, разве и сам Мефодий, и ученики не читали, не слышали многократно жития славных мужей и жён христианского мира — мучеников за веру, исповедников, святителей? И слышали, и читали. Но жития вели свою достойную речь о людях иных веков или стран, о событиях чудесных, несовместимых с житейской теснотой, бестолковостью. Кто и как теперь посмеет примерить житийный лад к своим дням?

Но Кирилл — иное. Хотя и томился он совсем недавно среди них, в той же тесноте, неопределённости, в муке своей телесной, — но теперь он столь уже

далеко, будто стремительно достиг тех иных веков и стран и стал причастником их чудесных деяний. Он сам творил чудесное, продолжает творить. Мощь чуда исходит от него, не убывая. Разве не великое чудо, что гордый Рим ошеломлённо притих, расслышав божественные смыслы в речи народа, считаемого на Западе презренным и рабским?

Эпистола и замысел Адриана

Уход Болгарии из сферы влияния римской курии, как ни странно, заставил всё же её внимательнее рассмотреть досаждавший ей моравский вопрос. Что, если, поддавшись примеру болгарина Бориса, и Ростислав отправит в Константинополь послов с согласием на полный перевод его моравлян под византийскую юрисдикцию?

По крайней мере, до слуха Мефодия и учеников уже доходили вести о беспокойстве Ростислава и Коцела за их судьбу. Следы такого беспокойства – в *“Житии Мефодия”*, где упомянуто прошение Коцела в Рим, чтобы поскорей отпустили к нему старшего солунянина. Там же, в житии, и ответ апостолика: “Не тебе единому отпущу, но всем землям тем славянским...”.

То, что оба славянских князя, каждый поодиночке, уже обременяют курию жалобами на затянувшуюся беспризорность своих Церквей, не могло не воодушевлять засидевшихся в Риме просителей...

Со стороны Ростислава такая настойчивость могла быть вызвана и тем, что под конец 869 года он вдруг добился впечатляющей удачи в открытом воинском противостоянии франкам. Удачи такой убедительной, что те впервые вынуждены были предоставить его княжеству полную независимость.

Но что же сам Его апостольство, блаженнейший папа Адриан?

Очень ли будет прилично – после всех прозвучавших из его уст громких поощрений в адрес славянских писymен и славянской литургии, после траурных соболезнований по поводу кончины Кирилла – так одними выражениями чувств и ограничиться? Или он хоть слегка накренит чашу весов в сторону дерзкого новшества двух византийцев, а тем самым – в сторону моравлян и паннонцев?

И, наконец, он её накренил, эту чашу. Слегка, но накренил.

Латинский оригинал письма Адриана II, адресованного князьям Ростиславу и Коцелу, в канцелярии Ватикана не сохранился. Не сберётся и греческий перевод, который, наверняка, тогда же составили, как принято при подготовке посланий межгосударственного достоинства. Над этим переводом как раз и могли совместно работать Мефодий с Анастасием. Но *“Житие Мефодия”* содержит пространный славянский текст письма, и он, судя по стилю, предельно близок к первоисточнику. Вполне возможно, что документ и готовили сразу на трёх языках, и это условие предложил Мефодий. Пусть-де и славянские князья получат эпистола, подтверждающую их высокое достоинство, уважение к их родной речи.

Письмо вышло явно напутственного, благословляющего, миротворного и покровительственного звучания. Попробуем услышать письмо папы Адриана так, как слышали его стародавние те славяне. Вот как звучит оно в *“Житии Мефодия”*:

“Адриан епископ и раб Божий к Ростиславу и Святополку и Коцелю.

Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение.

Яко о вас духовная слышахом, ныня же жадахом с желанием и молитвою вашего ради спасения, како есть воздвиг Господь сердца ваша искати Его и показал вам – не токмо верою, но и духовными делы достоин служити Богу.

Вера бо без дел мертва есть, и отпадают ти, иже ся мнят Бога знающе, а дела ся Его отметають. Не токмо бо у сего святительскаго стола просисте учителя, но и у благовернаго цесаря Михаила да посла вам блаженаго Философа Костянтина и с братом, дондеже мы не доспехом. Она же уведевша апостольскаго стола, достояща ваша страны, кроме канона не сотвористе ничесоже, но к нам приидосте и святаго Климента мощи несущее. Мы же трегубу радость приимше, умыслихом испытавше послати Мефодия свящаше и с ученики, сына же нашего на страны ваша, мужа же свершена разумом и правоверна да вы учит, яко же есте просили, сказая книги в язык ваш по всему церковному чину исполнь и с святою мшею (мессой) рекше,

со службою и крещением. Яко же есть Философ начал Костянтин Божию благодатью и с молитвы святого Климента, тако же еще ин кто возможех достойно и правоверно сказати свято и благосно Богом и нами и всею кафоликую и апостольскую церковью буди да бысте удобь заповеди Божия навыкли. Сей же един хранити обычай да на мши (мессе) первее чтут Апостол и Евангелие римскы, таче словенскы да ся исполнить книжное слово, яко восхвалят Господа вси языки и друго иде вси возглаголют языки различны величья Божия, яко же дасть им Святыи Дух отвещавати.

Аще же кто от собранных вам учитель и чешующих слухы и от истины отвращающих на бляди, начнет, дерзнув инако, развращати вы, гадя книги языка вашего, да будет отлучен токмо в суд, а ны церкви дойде ся исправить. Ти бо суть волцы, а не овця, яже достоин от плод нагнати и хранитися их.

Вы же, чада возлюбленная, послушайте учения Божия и не отрините казания церковнаго, да ся обрящете истиннии поклонители Божия, Отцю нашему небесному с всеми святыми. Аминь”.

Несмотря на сугубый архаизм, а отсюда — для современного читателя — вязкость и смысловую непроясненность некоторых оборотов документа, его содержание для славянских князей было вполне прозрачным. Адриан скромно именовал себя епископом, а не папой (ведь и все восточные патриархи с митрополитами тоже были — по сути, а не по званиям — епископами). Старик не оскорбил Ростислава никаким непочтительным словом в адрес убиенного цесаря Михаила. Хотя и напомнил, что когда-то Ростислав первым делом обратился за духовным окормлением всё же в Рим, а не на Босфор (“у сего святительского стола просите учителя”). Тут же, впрочем, признал очевидное: миссия из Византии в Моравию опередила римскую (“мы не доспехом”). Зато напоследок именно в Риме Мефодия с учениками “свещаше”, то есть рукоположили: сначала учеников в священники и диаконы, а напоследок и учителя — в епископы.

Вот это, вроде бы мельком сказанное о рукоположениях, и было для князей едва ли не самым важным местом письма. Отныне в Моравии и Паннонии будет у них свой епископ! Не от латинян, не от немцев назначенный, а уродившийся им солунский ромей, как и его покойный брат, по духу, по ревности своей к справедливости — истый славянин.

И свои, моравского, славянского роду, будут у них отныне священники!

И не так уж их расстроило, что старик-римлянин предписывает: во время литургии Апостол и Евангелие читать сперва на латыни, а потом уж на славянском. Да пусть! Тем с большей жадностью слух будет ждать, когда зазвучат стихи славянских книг! И каждому, впервые ступившему в Церковь, можно будет втолковать: раньше-то была одна латынь, а теперь сам Господь по милости своей для нас заговорил. Имеющий уши да внимлет...

А ектеньи, большая и малая, и просительная, а тропари праздникам и поминаемым святым, а молитвы, а стихи из “Псалтыри”? Они всё равно, как уже и заведено было братьями, будут звучать по-нашему! А те же проповеди!

Теперь и Мефодий, покидая Рим, мог убедиться: несмотря на кончину брата, несмотря на проволочки и неопределённость, изнурявшие их здесь долгими месяцами, дело всё же подвигается. Это Кирилл молится за них, чудесно помогает, чтобы общее дело не рассыпалось прахом. Подлинно: вера без дел мертва. Не зря Адриан привёл в своём письме это премудрое изречение апостола Иакова. Они теперь снова возвращаются к свободному, как дыхание, деланию. Они и здесь не томились бездельем, но затомились их велерадские и благоднаградские люди, оставленные при одной лишь азбуке.

Похоже, по намерениям Адриана, ему, Мефодию, придётся на своей вновь учреждаемой для славян епископской кафедре потрудиться не в одной лишь Моравии. И не только в Паннонском княжестве Коцела. Дело в том, что кафедру эту Рим заводит хотя и вновь, но никак не на пустом месте.

Чтобы утвердиться в таком решении, в Латеранском дворце пошелестели страницами весьма старых книг, извлекли на свет давно не разгибавшиеся пергаменные свитки, а то и папирусы.

Среди имён семидесяти апостолов Христова века твёрдо, незыблемо стояло и это — Андроник, победитель мужей, по-гречески. Апостол Павел в своём письме к Римлянам просит приветствовать Андроника, называет его родственником и говорит, что этот прославленный среди апостолов муж рань-

ше его уверовал во Христа. Святительское служение Андроника связывалось в преданиях со старой римской провинцией в Подунавье, в северном Иллирике. Центром удела Андроника был город Сирмиум, он же Сирмий, считавшийся когда-то у римлян одним из четырёх самых важных городов всей империи. Сирмиум стоял на берегу Савы со всеми своими имперскими древностями – театром, ипподромом и прочая, прочая. Но много позже оказался лакомой поживой для вторгшихся с востока гуннов. После того разграбления его жители разбежались кто куда, а кафедру архиепископскую уже не хватало сил восстановить.

Но вот и самое время приспело вернуть ей жизнь, – к такому мнению склонилась римская курия. На Мефодия, направляемого в Сирмий, поглядывали напоследок с таким единомышленным дружелюбием, будто и не шушукались ещё недавно возле папской кафедры противники славянского богослужения.

Мефодий, пожалуй, как никто другой подходил для замысла. В нём, с его воинской исполнительностью, воловьим упорством, будто от природы выпирает епископская жила. Князья к нему дружелюбны, ученики за него хоть в огонь, хоть в воду пойдут без колебаний. Там, в Моравии Ростиславовой и в Паннонии Коцеловой, судя по всему, есть уже у него немалая паства. Есть и опыт твёрдого противостояния франкским епископам. Ведь эти не в меру заносчивые отцы, заручившись покровительством Каролингов, ведут себя с каждым годом всё своевольней и по отношению к апостольскому престолу. Ромей Мефодий способен стать неплохим заслоном на востоке от напористых немцев. С другой же стороны, это и удобно, что он, вышколенный византиец, прибывший к моравлянам по благословению ныне отлучённого Фотия, вторично отправится к славянам уже как порученец, благословляемый римским Папой. Вот и живой противовес намерениям Византии. Она перетянула к себе болгар, хочет распоряжаться, будто в исконной вотчине, не у одних болгар, но и по всей Иллирии? Ну, и получайте по соседству своего Мефодия! Но теперь – *нашего* архиепископа. . .

И как это мудро, что местопребыванием возобновляемой древней кафедры определён именно Сирмиум. От него до Рима путь веками накатан, не то что от Велеграда или Коцелова городка. Мефодий тут почти под рукой. Его будет проще и надёжней при надобности вразумлять. Конечно, одно дело восстановить громадную древнюю епархию в мечтаниях – в буллах и на картах. И совсем иное – определить и отстаивать её пределы, противостоя тем же франкам, тем же болгарам с греками. А не управится с такими полномочиями и обязанностями Мефодий – не беда. Найдут другого. Важно начать. . .

Сирмиум витал в великих преданиях Рима, а затем и Константинополя, звездой с остро устремлёнными лучами. Через этот город пролегал жизненный путь четырёх императоров, в том числе Константина Великого. Одно из преданий намекало, что он вначале намеревался обустроить новую столицу империи именно в Сирмиуме. Но луч Константина устремился всё же к Босфору, к холму маленького Византия над Пропонтидой. Луч Андроника-Апостола, уже после его мученической кончины, тоже от Сирмий потёк на юго-запад. Говорят, его мощи нашли захороненными в пригороде Константинополя.

Мефодий с детства знал, что великомученик Димитрий казнён в его родном городе. Но вот в Сирмии веками жило упорное предание, что Димитрия Солунского казнили именно здесь. По поводу таких разноречий приходилось лишь вздыхать. Ну, что поделаешь, если каждая земля ревновала и ревновать будет о славе великих светочей Христовых!

Отбывая к месту назначения, Мефодий не мог не осознавать зыбкости, сомнительности, а главное, двойственности своего архиерейства. Он прибудет в маленький, полузаброшенный после нашествия гуннов городок, который, слышать, сполна умещается теперь в пределах ипподрома имперских времён. Приедет туда, где его никто не знает, как и он никого. Вместо радостной встречи с учениками школы, оставленной в Велеграде, с Ростиславом и его молодым племянником Святополком, с тем же Коцелом, его ждут настояжённые присматривания: кто сей? уж не назначено ему у нас место опалы? . .

В *“Житии Мефодия”* Сирмий даже не упомянут. Нет никаких других старых письменных свидетельств тому, что он сюда заезжал, здесь останавливался, строил церковь (или приспособил уже когда-то построенную), завёл хозяйство, соответствующее его архиерейским нуждам. Вместе с тем, Сир-

мий (современная Сремска Митровица в Сербии, на берегу Савы, в двух десятках километров от Белграда) как географический пункт его епископской деятельности в научный оборот вошёл – в качестве если не доказательной реалии, то заслуживающей внимания проблемы*.

УЗНИКИ МОНАСТЫРЯ РАЙХЕНАУ

“И потоцы беззакония смятоша мя...”

Рим... О благословении ли, полученном в Риме, было ему теперь вспоминать? Какое ещё епископство, если тут впору стать поперёк дороги и запретить себе даже единый шаг – в любую из сторон. И дышать не дыши, хватит. Камнем застынь. Старым безнадёжным солдатским камнем, на котором ни имени, ни рода-племени твоего уже не различить, а только щербатый номер легиона или когорты. Ни о чём не думай. Ничего больше не жди. Некуда. Незачем. Хватит с тебя.

Да что ж ты так несчастна, Моравия? Почему всё в тебе опять стремглав перелицевалось? За какие грехи и в который раз!

Он-то Ростислава спешил поздравить, а заодно и молоденького Святополка – с недавней их воинской победой. С тем, что вырвали, наконец, из рук немецких долгожданную волю. С тем, что заживут теперь свободно.

Нет же! Ему на пути в голос кричат:

– Да куда ж вы вы!? Разве не знаете: в княжестве измена! Ростислав схвачен... А кем? Далеко искать не нужно. Молодой племянничек – он и покусился на дядину власть...

Неужели Святополк?... Но где ж Ростислав?..

– Спросите лучше, где ветер... Одни немцы знают, куда Ростислава упрятали. У Карломана спрашивайте, где Ростислав. И жив ли ещё тот Ростислав...

Карломан. Он же Карломань. Один из трёх сыновей Людовика Немецкого... Сколько же их на свете – Людовиков, Карломаней?... Какой-то Карломан, самый, что ли, первый из всех по счёту, был родным братом Карла Великого, но умер юношей. Был ещё какой-то, но тоже не здесь, а в Бургундии. А этот, старший сын Людовика?... Ещё в первое своё пребывание в Моравии братья слышали о нём немало всякого. То он союзничал с Ростиславом, то, неугомонный в коварствах и клятвопреступлениях, почти тут же свежую распрю затевал. И теперь, после прошлогоднего поражения от Ростислава, видать, недолго копил в себе злость для нового умысла. Но действовать решил напоследок не мечом, а прельщением. Немало, должно быть, наобещал Святополку и его вельможам нитрским за измену. Не пролив и капли крови, получил от них клятву с опутанным по рукам и ногам велеградским князем.

Нет, не получается ему, Мефодию, стоять посреди поля придорожным обломком воинского надгробья. Ради хотя бы этой малой горстки учеников, что в унынии сгрудились возле него, нужно перебороть в себе терпкую каменную усталость.

Всё равно надо в Велеград ехать! А значит, так и так – через Нитру пы-

* Агиограф Мефодия сразу после текста письма Адриана II сообщает о поступке князя Коцела, вроде бы характерном для этого горячего правителя Паннонии. Коцел встречается у себя Мефодия с великой честью, но почти тут же снова... посылает его к апостолику, прося того “святить на епископство в Паннонии, на столе святого Андроника Апостола” ещё и... двадцать своих “муж честны чади”. Этот рассказ, вызвавший множество разноречивых толкований в учёной среде, действительно, заслуживает перепроверки. Или автор жития вовсе не входил в число учеников, побывавших с братьями в Риме, и потому не мог знать подробностей и ненамеренно сместить их, или за давностью описанных событий передал поспешный замысел Коцела в утрированном виде. На самом деле Мефодий, услышав о таком пожелании паннонского князя, перво-наперво постарался бы остудить его пыл, напомнив, что ему, Мефодию, с братом удалось в Риме добиться рукоположения в священники (а никак не в епископы) всего трёх учеников, причём в совершенстве подготовленных к служению в Церкви. Скорей всего, весной 870 года речь в Блатнограде, на обратном пути Мефодия в Велеград, могла вестись об устройстве у Коцела первоначальной школы, как об этом и уславливались два с лишним года назад. Для такого почина двадцать “муж честны чади” как раз были бы достаточны.

лить. Если же Святополк уже не в Нитре, а в Велеград перебрался, на дядин стол, надо перво-наперво усовестить Святополка. Наложить на него строжайшую епитимию за Иудин грех. Может, ещё не поздно спасти и Ростислава? Только знает ли племянник, куда спровадили дядю родного?

Но вышло так, что никто из них двоих — ни Святополк, ни Мефодий — ещё долго ничего не знал о судьбе Ростислава. Как ничего или почти ничего достоверного ещё долго не знали Мефодий со Святополком и друг о друге.

Так получилось, что Мефодий, если и добрался тогда до Велеграда, то лишь на самый малый час, — чтобы доставить превеликую радость глумливой облове. Наконец-то — с копьями, арканами и ножами — вышли на лов долгожданного византийского зверя и его зверят:

... Сии на колесницах и сии на конех,
Мы же имя Господа нашего призовем...

И учеников похватили вместе с их опозоренным епископом. Ехали из Рима к великой радости, а облеплены были грязью с головы до ног.

Куда везут их? На запад солнца, в предгорья и горы, через ямины, нарытые потоками. Значит, в самое гнездовье франкское. Не там ли теперь и Ростислав, если только жив князь?

... Аз есмь червь, а не человек,
поношение человеков и унижение людей.

Помоги же напоследок, спасительная книга!.. Когда начинал он перелагать её псалмы, заботливо подбирая на место греческих славянские слова, мог ли догадываться, как много в ней наперёд сказано и про него самого! Про каждого из нас сказано наперёд — на случай всякой беды, всякого непереносимого унижения. И вот — память нашаривает во тьме последнее прибежище для души.

... Одержаша мя болезни смертныя
и потоцы беззакония смятоша мя.
Болезни адовы обыдоша мя,
предвариша мя сети смертныя.
И внегда скорбети ми, призвах Господа
и к Богу моему возвах:
Услыши от храма святого Своего глас мой,
и вопль мой пред Ним внидет в уши Его.

Прежде, когда жили с братом на Горе, книга эта чаще всего открывалась для него стихами тихой радости и благодарности за то, что теперь и монахи его из славянского племени тоже, не хуже греков, понимают смыслы Давидовых стихов:

Повемя имя Твое братии моей,
Посреде Церкви воспою Тя.

Душа переполнена была смиренным ликованием. Казалось, и по всему миру так же теперь разливается благодатная теплота. Верилось, что навсегда допущены они в это селение чистых трудов и до конца дней своих будут распроганно славить Творца на сладкозвучных гуслих царёвых.

... Кто взыдет на гору Господню
или кто станет на месте святем Его?
Неповинен рукама и чист сердцем,
иже не прият всуе душу свою...
Сей примет благословение от Господа
и милостыню от Бога Спаса своего.

Но так она теперь далека, та Гора, будто в чужой совсем жизни! А их — не в преисподнюю ли тащат? Можно подумать, что и не христиане вовсе тащат, а свирепые язычники — гунны, авары. Или угры, что напали было на него с братом в степях приказарских... Но и язычники бы так не злобились, видя их беззащитность.

Аще ополчится на мя полк,
не убоится сердце мое.
Аще восстанет на мя брань,
на Него аз уповаю...

Немецкие епископы и папа

Поистине ополчился против него и горстки учеников целый полк враждебных им лиц, да ещё и с духовными воеводами во главе... Хотя в “Житии Мефодия” не назван по имени ни один из участников расправы, дело спустя три года вдруг получило такую громкую огласку, что пало несмываемой тенью сразу на нескольких церковных владык.

Все они из Восточно-Франкского королевства. Все входили в синод Зальцбургской архиепископии. Все в большей или меньшей степени были ответственны за прямо-таки разбойничье самоуправство, вызвавшее, наконец, возмущённую отповедь из Рима. Автор жития говорит о них во множественном числе: “епископы”. Замечает лишь, что некоторые из участников сговора после событий прожили совсем недолго: “...не избыша святаго Петрова суда, 4 бо от них епископи умроша”.

Упомянем каждого отдельно.

Первым – Германриха, епископа из Пассау. Его владения располагались ближе всего к моравским землям, и он в 870-м непосредственно участвовал в набеге на Моравию, находясь при войске Карломана. Он теперь и повёз схваченного византийца в свой Пассау. О Германрихе известно также, что за пять лет до этого он побывал в сопровождении своих священников в Плиске, у болгарского князя Бориса, надеясь добиться постоянного присутствия в этой стране немецких пастырей. Но вынужден был отъехать, ни в чём не успев. Тогдашний Папа Николай имел, как известно, собственные виды на Болгарию и потому не потерпел конкуренции.

На судное собрание (оно состоялось в Регенсбурге) явились также епископы Анон из Фрайзинга и Ландфрид из Себена. Среди присутствовавших называли и Вихинга, священнослужителя из Нитры, пути которого с Мефодием будут впоследствии многократно пересекаться.

В затеянном разгроме моравской миссии участвовал и Адальвин, архиепископ Зальцбургский. Если он и не был главным исполнителем расправы, то, скорее всего, как раз он постарался, хотя бы задним числом, обосновать необходимость и особую строгость суда. Именно в стенах его епископской канцелярии тогда же, к началу 871 года, и появился трактат, известный среди письменных источников той эпохи под названием “Крещение Баварцев и Карантинцев”. Анонимный автор трактата постарался отметить историческое первенство Зальцбургского духовного центра в деле христианского просвещения не только германских, но и славянских язычников. Адальвин, по мнению исследователей, явно приложил усилия к появлению этой рукописи.

Но мог ли епископский синод обсуждать в обстановке, приличной такого ранга собранию, вопрос о том, кто в большей степени достоин и способен просвещать славян – они, старожилы этих мест, или приезжие миссионеры из Константинополя? Нет, после того, что успели здесь вытворить по отношению к Мефодию, синод совершенно уже не был способен удерживаться в рамках пристойности. Об этом с возмущением заявил в своём письме – прямо в лицо епископу Германриху – не кто иной, как папа римский.

“...Воистину, чья жестокость, – не скажу про епископа, ни про какого-то светского человека, ни даже про тирана, – или чья зверская свирепость способна превысить твою дерзость, когда обрёл нашего брата и епископа Мефодия на затворническое притеснение и когда самым жестоким и бесчеловечным способом принудил его такое продолжительное время стоять под открытым небом, в зимнюю стужу и под дождём, и как отстранил его от доверенного ему руководства Церковью, и как дошёл до такого безумства, что приволакиваешь его на епископский Собор и бьёшь конской плетью, и как не было такое воспрепятствовано другими? И это, спрашиваю тебя, поступки епископа?...”

Письма со словами возмущения неправедным судом отправлены были из Рима, кроме Германриха, также епископам Адальвину в Зальцбург и Анону во Фрайзинген. Адальвину предписывалось: “...ты, который стал виновником

его (Мефодия. — Ю. Л.) свержения, да станешь виновником и его восстановления на доверенной ему службе”. Анону, “чья надменность и дерзость превышают не только облака, но и всё небо”, выставлено ещё более жёсткое требование: “Если не будут созданы для уважаемого епископа добрые условия”, то ему, Анону, надлежит срочно явиться в Рим и здесь дать отчёт обо всём случившемся. До тех пор, пока Мефодий не будет освобождён и восстановлен в своих правах, всем этим епископам запрещалось служить мессы.

Как явный соучастник расправы получил буллу и Карлемань, сын Людвига Немецкого. “Да будет дозволено брату нашему Мефодию, — диктовалось из Рима, — который назначен от апостолической кафедры, свободно исполнять епископскую функцию сообразно старым обычаям”.

Чтобы проверить исполнение своих повелений, Папа отправляет на место событий своего легата — епископа Павла Анконского, которому предписано способствовать освобождению Мефодия и благополучному возвращению его в Моравию.

Все эти буллы составлялись и отправлены были из Рима в самом конце 872 или начале 873 года. Но автор их — уже не Адриан II, что сразу видно и по энергичному, жёсткому стилю этих писем. Автором был новый первоиерарх Западной церкви — Иоанн VIII.

Старого апостолика, который вручал в Риме архиепископские полномочия Мефодию, уже не было в живых. Он скончался 25 ноября 872 года, возможно, так и не узнав ничего достоверного о судьбе своего неведомо куда исчезнувшего посланца. Скорее всего, князь Паннонии Коцел, обеспокоенный покушением на жизнь сначала Ростислава, а за ним и Мефодия, мог, и даже неоднократно, слать в Рим запросы, полные тревоги и самых мрачных предположений. Если бы Адриан отправлял Коцелу в Блатноград хоть какие-то письменные ответы, они в том или ином виде сохранились бы. Как сохранились четыре письма папы Иоанна VIII по делу Мефодия.

В любом случае, новый папа в этом деле самым рьяным способом принялся за то, в чём не успел или сплеховал старый.

Иоанн VIII — второй папа, с которым Мефодию придётся сотрудничать непосредственно. Происходил он из старого римского рода. До своего избрания долго прослужил в соборе Апостола Петра архидиаконом, то есть был у всех и вся на виду. Значит, вполне мог лично знать Мефодия и покойного Кирилла. И даже, как художник речитативного слова, артист по складу души, проявлять особое внимание к литургическому творчеству братьев на славянском языке.

Но вряд ли расположенность личная (если она и была) побудила нового главу Западной церкви поступить теперь так стремительно и властно, прибегнув к грозному окрику.

В курии, судя по беспрекословному тону булл Иоанна, с его приходом, кажется, вполне возобладала антигерманская партия. Её сторонники уже накопили достаточно свидетельств того, что от Восточно-Франкского королевства при Людовике Немецком и его сыновьях не приходится ждать достойного отношения к престолу Святого Петра. То и дело почва под ногами вступивали древние, вроде бы давным-давно похороненные инстинкты. словно само время норовило отползти — к стародавним тяжбам империи с беспокойными и дикими германскими племенами. Но теперь у Рима не было ни собственных императоров, ни могучих легионов, чтобы укрощать северных властолюбцев, расплодившихся безмерно после смерти Карла Великого.

Здесь прекрасно помнили, как самого Карла в начале века тогдашний Папа Лев III увенчал в Риме короной императора, вызвав этим поступком сильное неудовольствие императора Византии. Но Карл не оставил по себе столь же великих наследников. А потому надёжнее Риму рассчитывать не на силу меча, а на силу духовного авторитета, то есть на самих себя. Так полагал Папа Николай I. Такой же линии хотел придерживаться с самых первых своих шагов и он, Иоанн VIII.

Тем более что последние события показали: мирские вождения Людовика Немецкого и его сыновей дурно влияют на поведение восточно-франкских епископов. Что за самоуправство, что за варварские выходки позволяют себе его баварские духовные чада!

Иоанн тоже, вослед Николаю и Адриану, не собирался упускать из вида Болгарию. Он вовсе не хотел, чтобы немецкие короли, поглотив Моравию и Паннонию, расширились вплоть до болгарских земель, а немецкие еписко-

пы укоренились в болгарских городках. Болгария всё равно должна, наконец, войти в юрисдикцию апостольского престола. Как и Паннония и Моравия уже пребывают под покровом кафедры Святого Петра. По крайней мере с того самого дня, когда Адриан учредил грека Мефодия архиепископом на древнюю кафедру Апостола от 70-ти Андроника.

А потому пусть Моравия с Паннонией и впредь остаются сами по себе – независимыми от немецких посягательств.

Но всё это пока что было у него только на уме. И через три почти года после того, как пленили князя Ростислава и схватили Мефодия, об их дальнейшей судьбе в Риме знали лишь по обрывочным слухам.

Суд и расправа

Нам снова нужно вернуться к событиям 870 года. Ростислава немцы судили в Баварии в ноябре. Последние сведения о жизни князя, дружелюбно принявшего у себя в Велеграде двух греческих учителей, ничтожно скупы. Суд приговорил его к смертной казни. Король Людовик, столько раз воевавший с моравским вождём, напоследок смилостивился. И казнь, если только считать это милостью, отменили, заменив ослеплением. Но в том же году Ростислав умер. Где скончался, где погребён? Бог весть.

Святополк, выдавший Карломаню своего дядю в обмен на обещанную независимость, так ничего за измену и не получил. А когда попробовал возмутиться, Карломань и его запрягал в одну из баварских тюрем.

Существует благочестивое предание, что в том же самом узилище оказался тогда и Мефодий. И, значит, если представилась им возможность видаться и беседовать, у Святополка был случай покаяться перед своим епископом в грехе предательства и властолюбия. Только ли Ростислава выдал он всегдашним врагам Моравии? Осознал ли теперь, что не одного лишь дядю, но всю землю моравскую, со всей её бесправной чадью пустил на разграбление?

Есть древний документ, вроде бы подкрепляющий это предание о встрече двух подневольных. Речь идёт о рукописном помяннике – “Книге побратимства” (*Liber confraternitatum*) из библиотеки южно-немецкого монастыря Райхенау. На разных страницах помянника прочитываются записанные латиницей имена Мефодия (*Methodius*) и Святополка (*Szuentebulc*). То, что это подлинно они, а не одноименные им лица, подтверждает другая запись того же документа, где имя находящегося в заточении архиепископа проставлено по-гречески – ΜΕΘΟΔΙΟΣ.

В “Книгу побратимств” записывали имена людей и духовного звания, и мирян, и гостей-паломников, и недобровольных насельников монастыря – всех, кто просил братию молитвенно их поминать.

Если Святополк и был в стенах Райхенау пленником, то сравнительно недолго. А Мефодий?

Где же всё-таки с первой половины 870 года до первой половины 873-го искать нам следы его подневольного пребывания?

Агиограф, как всегда скупой на даты, имена людей и географические подробности, в своём рассказе о годах заключения Мефодия говорит, что после суда его “заславше в Свабы” (в Швабию), где продержали ещё “пол третия лет” (то есть два с половиной года).

В рассказе этом, – возможно, такова была воля Мефодия, не любившего лишний раз поминать гонителей, и так уже получивших по делам своим, – умолчано о нанесённых ему оскорблениях, которые с таким возмущением живописал Папа Иоанн VIII в буллах к баварским епископам.

Но всё-таки двумя-тремя важными подробностями передана в житии предельная жёсткость самого судилища. По главному доводу обвинителей – “На нашей области учийшь!” – Мефодий не посчитал нужным развёрнуто оправдываться. Сказал лишь без обиняков:

– Если бы ведал, что ваша область, обошёл бы стороной. Но не ваша область, а Святого Петра. Вопреки канонам, лакомства своего ради, наступайте на старые пределы. Будто хотите железную гору костяным теменем пробить. Опасайтесь лучше, чтобы мозг свой не пролили.

Когда в ярости пригрозили ему, что за такую хулу не оберётся зла, ответил:

– Я истину и перед цесарями говорю и не стыжусь. Вы, как задумали, так и правьте волю свою на мне. Чем я лучше тех, которые, отстаивая правду, жизнь свою в муках избыли?

Сколько ни кричали ещё, не смогли толком ничего ему возразить.

Присутствовавший на суде король Людовик Немецкий, когда епископы умолкли, даже сказал с ухмылкой:

– Ну, хватит вам утруждать моего Мефодия, а то он уже употел, будто возле печи стоит.

На что обвиняемый отшутился:

– Когда-то одного потного философа люди повстречали и спрашивают его: “Отчего ты так взопрел?” – “Да оттого, что с грубиянами прения затеял”... .

Не после таких ли слишком жарких обменов мнениями и выставляли узника на двор, под дождь и снег, или заталкивали в стылые подвалы?

В итоге синод баварских епископов, как и можно было ожидать, определил ни в коей мере не менять участь строптивца Мефодия к лучшему. Избрали только иное место заточения. Ещё дальше на запад увезли, в Швабию. Чтобы уже никоим образом не добрался оттуда до своих моравлян.

Вскую лице Твое отвращаеши,
забываеши нищету нашу и скорбь нашу.
Яко смирился в персть душа наша,
прильпе земли утроба наша.
Воскресни, Господи, помози нам
и избави нас имене ради Твоего.

Имена

Среди различных предположений, касающихся наиболее достоверного места ссылки Мефодия и его учеников, чаще иных называли и до сих пор называют старый швабский монастырь Элланген, основанный в VIII веке. Предпочтение ему отдают потому, что как раз на Эллангене мог настаивать епископ Германрих, наиболее ярый из гонителей славянской миссии. Он сам был родом шваб, и в Эллангене его рукополагали в священнический чин. Но монастырь этот, если и побывали в его стенах невольники, почему-то оказался непригодным для их постоянного содержания. Похоже, зачинщики расправы делали всё, чтобы замести следы. Среди предполагаемых точек очередных пересылок называются ещё монастыри за пределами Швабии и к западу от Рейна, то есть в краях, входящих теперь в состав восточной Франции.

Позже других в поле особо пристального исследовательского внимания попал швабский монастырь Райхенау.

О здешнем узничестве Мефодия свидетельствуют не только записи его имени в упомянутой выше “Книге побратимства”. Вторая из записей, та, что выполнена не латынью, а греческим письмом, драгоценна ещё и тем, что сразу за именем учителя прочитываются ещё несколько имён, записанных тоже по-гречески. Полностью строка выглядит так:

ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΛΕΟΝ, ΙΓΝΑΤΙΟΣ, ΙΟΑΚΙΜ, ΡΥΜΕΟΝ, ΔΡΑΓΙΑΣ.

Вот, наконец, впервые появляется возможность прочитать имена учеников Мефодия и покойного Кирилла. Потому что кто же это, как не они!

До сих пор ни жития братьев, ни другие документы тех дней подобной возможности не давали. Поневоле в нашей книге, – шла ли речь о Малом Олимпе или Велеграде, о Венеции или Риме, – ученики всегда присутствовали безымянно. И вот имена проявились – на старых пергаменных листах IX века*.

Правда, сразу же напрашивается ряд вопросов. А что, в записи из немецкого монастыря упомянуты те самые ученики, которых братья возили с собой

* Словацкий писатель Милан Ферко сообщает, что идентичного содержания перечень имён Мефодия и его спутников (алфавит греческий) выявлен и на странице 53-й монастырского помянника, который принадлежал древнему восточно-французскому аббатству Люксей-ле-Бейн (Ferko M. Velkomoravske zagady. Tatran. Bratislava, 1990). Известно, что основатель аббатства Люксей, ирландский аскет и миссионер Святой Колумбан со своими сподвижниками отсюда предпринимал хождения и дальше на восток, в том числе поднимался вверх по Рейну до Боденского (Констанкского) озера.

в Рим? Может, среди них есть и те, кого учителя присмотрели ещё в вифинском Полихроне? Кроме последнего (имя Драгиос больше всего напоминает сербское Драгош) все остальные как будто из греческого имясловного ряда, известного и латинянам, и немцам. Но значит ли это, что все ученики – греки? Скорее всего, в списке должны преобладать славяне, получившие в крещении (или при монашеском пострижении) новые имена. Понятно, не могли они и заикаться о том, чтобы записали их в помяннике буквами славянской азбуки. Ну, куда уж в чужой монастырь со своим уставом! И за то великое благодарение милостивым хозяевам, что теперь на службах и их, лишённых свободы, станут поминать вслух по именам.

В Райхенау кроме “Книги побратимств” издавна существовал, как и должно, главный монастырский помянник – для здравствующей братии (*Nomina vivorum fratrum...*). Имена учеников Мефодия появились в те же годы и на его листах, хотя уже не в греческом, а в латинском написании, к тому же с прибавкой трёх новых имён: “Ignatus, Leo, Hiltibald, loachim, Lazarus, Uualger, Simon”. Значит ли это, что ученики зачислены были в штат постоянных насельников монастыря – в чине послушников, трудников или даже монахов? На этот вопрос ответить труднее всего. По крайней мере, запись говорит о степени расположенности, доверия настоятеля и братии к людям, оказавшимся здесь не по своей воле.

Но более всего, пожалуй, трогает ещё одна сокровенная подробность монастырских помянников. Она – в списке покойных монахов Райхенау (*Nomina defunctorum fratrum...*) На одном из листов рукописи внятно прочитывается: Kirilos. По свидетельству немецких археографов, изучавших рукопись, её чернила и почерк – те же самые, что и в латинской надписи Methodius. Возможно, за скромным и таким непредвиденным причислением Кирилла в сонму покойных отцов Райхенау мог стоять целый сюжет: доверительная беседа Мефодия с настоятелем немецкой обители, рассказ о брате, скончавшемся в Риме и погребённом вблизи мощей священномученика Климента. И почтительное предложение аббата вписать брата Кирилла в помянник почивших здесь отцов. Земля ведь, слава Богу, одна. И вера, слава Богу, одна. И да не попуцены будут в доме Христа, в его семье никакие раздоры, вражды, отпадения...

Монастырь, куда их привезли, древний. Стоял он на одном из островов Боденского озера. Местные жители рассказывали об этом острове, что прежде, пока не ступили на него первые монахи, он кишел змеями. А о самом озере говорили, что оно – самое большое и глубокое в Европе. Хотя и живут здешние отцы в строгом островном уединении, но кое-что знают и о мире. В Райхенау любят вспоминать аббата Хейтона, одного из мудрых строителей обители: он ведь когда-то даже в свите самого Карла Великого ездил в Константинополь. При василевсе Никифоре это было, который в сражении с болгарами тогда же и погиб. Хейтон привёз из того посольства книжку дорожных записей, и она как драгоценная реликвия сберегается в здешней библиотеке.

Вода вокруг тёплая, мягкая, озеро даже зимой редко замерзает. Но монастырь есть монастырь. Под солнцем не разнежишься. От старых каменных стен и в жару исходит крепкий холод, повязывающий плоть напоминанием: *земля еси и в землю отидеши*. А пока труждайтесь, как и все. Не глазеть же сюда присланы – на воду, на горы, на текучие туманы...

Монастырское житьё – и для монаха та же неволя, хотя неволя по своему желанию. А монах, сосланный в монастырь, всё равно попадает в братскую среду. И тут уж не до различения: кто – по собственной воле, а кто – по принуждению...

Был в стенах Райхенау ещё один документ, подтверждающий, что, по крайней мере, часть срока своего заключения Мефодий с учениками отбывал именно здесь. Это “Баварский географ” – сочинение, давно известное в учёном мире. Из наших соотечественников первым с его содержанием ознакомился Николай Михайлович Карамзин. Современный русский исследователь А. В. Назаренко, тщательно изучив небольшой по объёму, но чрезвычайно насыщенный этногеографическими сведениями документ, пришёл к выводу, что название “Баварский географ” мало соответствует его содержанию. Оригинальное наименование в переводе с латыни звучит иначе: “Описание городов и областей к северу от Дуная” – “*Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam danubii*”. Общепринятое название ставит акцент на баварском происхождении автора и памятника. В самой же записке Бавария как

таковая, как географический объект, по сути, и не рассматривается. Безымянного автора занимают сведения о славянских и других народах и племенах, обитающих на громадных пространствах Центральной и Восточной Европы. Из этих стран и народов лишь некоторые непосредственно соседствуют с Восточно-Франкским королевством, в том числе с Баварией.

По мнению А. В. Назаренко, “представляется достаточно обоснованной гипотеза о том, что “Баварский географ” был составлен в южно-швабском монастыре Райхенау после начала 870-х годов – времени пребывания в монастыре Св. Мефодия и некоторых его учеников, причём единственная сохранившаяся рукопись, возможно, является оригиналом памятника”.

Если так (а хочется верить, что именно так), то все эти разнородные по происхождению сведения (собственные наблюдения и подсчёты, записи письменных и устных рассказов, почерпнутых от самых разных лиц) собирались как исходный, нуждающийся в тщательных уточнениях материал. Собирались и в пору хождения солунских братьев в Херсонес, и к хазарам, и во время первоначального знакомства с Моравией, до ссылки Мефодия.

Теперь, во время вынужденной приостановки трудов миссии, можно было хоть начерно собрать в один документ накопленные сведения, не стесняясь их рыхлостью, отрывочностью, а часто и сказочно преувеличенным числом городов в той или иной славянской области. Да, то, что они собирают – только самая приблизительная разведка. А она, как известно со времён великого искателя стран и народов Геродота, не брезгует и слухами. Ведь слухи дразнят воображение и побуждают к действию. Но сами действия оправдываются лишь добытыми “языками”.

Многие из народов и племён в латинских написаниях “Баварского географа” недостаточно удобочитаемы и остаются загадкой для исследователей. Но те имена, тоже многочисленные, что поддаются прочтению, красноречиво подтверждают намерение составителей записки обозреть славянские земли от западных пределов, где с немцами соседят лужицко-сорбские племена, затем чехи, они же богемцы (Beheimari), малопольские племена в верховьях Вислы (Vuislane), болгарские славяне (Bulgarii) – до восточноевропейских пространств, на которых обитают русь (Ruzzi), живущие по Бугу бужане (Busani), волыняне (Velunzani), а ещё восточнее – и хазары (Caziri).

Можно догадываться, что, надиктовывая здешнему любознательному монаху, знатоку латыни, имена народов и племён, Мефодий и его ученики хоть на время забывали тяготы заточения. В эти часы наполнились их души каким-то тихим рассветным чувством: до чего же обилен и многозвучен славянский мир! И восхищение бодрило, и оторопь брала: да возможно ли кто когда обойти его пределы и обозреть, и описать достойно, не сбиваясь в именах и числах?

ЖАТВА

Возвращение в Велеград

“Простая чадь”, как называл моравлян князь Ростислав, вряд ли способная была чем-то озадачить властителей – и своих, и чужих. Оказавшись без Ростислава, почти тут же и без Святополка, не успев порадоваться Мефодию и его дружине, угодившим по прибытии из Рима прямо в немецкую засаду, моравляне, по всему, обречены были на беспросветное уныние. Кажется, ещё поискать бы надо на земле племя, до такой степени безвольное, невезучее, обречённое, как чахлая нива, валиться при первом же порыве ветерка!

Таким не всё ли равно, свой князь правит, заезжий ли немецкий граф, лишь бы последней рубахи с плеч не сдирали, завалящего клок земли не лишали. Латинская месса звучит в храме или обедню правят на вроде бы своём языке, а жизнь ни от того, ни от другого всё равно не становится понятней, сносней. Что там Страшный Суд на ином свете, если он, суд, и во весь нынешний короткий век, будто бич, по-хозяйски хлещет то вдоль, то поперёк спины.

Но откуда же тогда – хоть слуху не верь! – исподволь прорвался, раскатился по руслам тихих рек неостановимый вопль? Вдруг скирдами пересохшей соломы полыхнуло восстание, да такого накала, что отблески того жара и до

баварских гор долетели. Шептания своих гонителей о мятеже могли слышать по темницам и Мефодий с братьями, и Святополк, и Ростислав, если на ту пору старший князь Моравии ещё оставался живым.

Любой бунт и дня не выстоит без вожака. Вскоре и среди немцев заговорили, что какой-то главарь у варваров всё же сыскался. Но не купец, не князёк, не воевода. В вожди произвели, вроде бы даже без его воли, нитранского священника по имени Славомир. А это был, однако, родственник князя Святополка, считай, не чужой и его дяде.

Временем кончины князя Ростислава, наступившей после его ослепления в баварском монастыре, принято считать позднюю осень 870 года. А начало восстания обычно относят уже к следующему, 871 году. Останься Ростислав в живых до этой поры, долети до его узилища весть о неожиданной отваге Славомира, об отчаянной решимости моравской “простой чади”, он бы, пожалуй, хоть напоследок утешил радостью сердце, угнетённое сверх всякой житейской меры. Вот уж кто мог перед смертью сполна обратиться к своей земной доле стихи Псалмопевца:

“Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит”.

И Христовы слова о душе, претерпевшей всё до конца, тоже были про него*.

Вряд ли немецкие епископы сомневались в том, что не меньше, чем Ростиславу и Святополку, главарь бунта известен и Мефодию. И что наверняка ещё до отъезда двух византийцев в Рим какие-то связи между ними и этим попом уже имели место. Не потому ли сразу после суда в Регенсбурге отправили Мефодия с его людьми подальше на запад, в Швабию?

Казалось бы, ничего доброго не мог ожидать для себя от известия о восстании и князь Святополк. Но, как ни странно, события в Моравии послужили его скорейшему освобождению. В очередной раз выпало князю замириться с сыном Людовика Немецкого Карломанем. В наскоро задуманной игре хитроумец Карломань решил снова поставить на Святополка, такого же, как и он сам, мастера интриг. Пообещал ему не только личную свободу, но и возвращение власти над Моравией, если тот поведёт туда франкское карательное войско и сам покажет на месте, какими средствами можно угомонить взбунтовавшихся холопов.

Святополк, хоть и опасался подвоха, принял игру. Не смутила его ни унизительная слава усмирителя собственных подданных, ни то, что вместе с ним отряжены для неусыпного надзора за всяким его шагом два немецких маркграфа, Вильям и Энгельшалк.

Как только вломились в моравские пределы, начались самые свирепые расправы. Святополк не препятствовал баварцам в их обычных повадках распорядиться чужим добром, чужими жёнами и девками.

Когда подошли к валам и крепостным тынам Велеграда, он отсоветовал маркграфам готовить осаду или штурм. Первое отнимет много времени, второе будет стоить больших людских жертв со стороны нападающих. Есть лучший способ. Он сам берётся пройти внутрь восставшего города, объяснить людям безрассудность сопротивления и уговорить их добровольно сдать город. Кому-кому, а уж ему-то моравляне поверят, как отцу родному.

Защитники Велеграда, заметив приближающегося к главным воротам одинокого всадника и узнав в нём князя Святополка, которого уже не чаяли узреть в живых, действительно проявили признаки почтительного умиления и тотчас впустили его внутрь крепости.

За тынами установилась выжидательная тишина. Такая же – среди всадников, что изготовились ворваться в город.

Пошли минуты, а потом и часы. Похоже, Святополк очень уж понадеялся на свои способности перехитрить бунтарей, склонить их к сдаче ему никак не удавалось. Могли ведь ещё и побить князя, и повязать, узнав, что он-то и привёл карателей в свою землю.

Когда баварцы уже притомились сидеть верхами наизготовку, за тынами зашевелились. Из нескольких ворот горожане повалили им навстречу. Но не

* В декабре 1992 года, спустя более тысячи и ста лет после мученической кончины князя, на Поместном Соборе Православной церкви Чешских земель и Словакии было принято решение о канонизации святого равноапостольного Ростислава Великоморавского. Русская Православная Церковь молитвенно поминает святого Ростислава 24 мая, в тот же день, когда чествуется память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.

с повинными головами, а с секирами, мечами, копьями и дрекольем в руках. Они первыми кинулись в схватку и быстро окружили всадников. Рукопашная закончилась полным поражением чужого войска. Помяли и двух маркграфов...

Оказавшись весной 874 года на свободе, Мефодий наверняка слышал эту историю во множестве красочных изложений, в том числе и из уст самого Святополка, встреча с которым состоялась в Велеграде. По всем статьям князь выглядел полным героем. И немцев побил, и Карломаня переиграл. Хотя гуляли по городу и особые подробности того дня. Сам-де Святополк на вылазку не пошёл, чтобы на случай её неудачи было ему чем оправдаться перед Карломанем: да повинен ли он?.. Горожан уговаривал на мирную сдачу, а они скрутили ему руки-ноги и кинули в холодный подвал...

В тот самый год, когда Мефодий с учениками вернулся в моравскую столицу, Святополк решил воспользоваться затруднениями Карломаня, повязанного по рукам и ногам распрями с родными братьями. Князь отправил к старшему сыну Людовика в качестве своего доверенного лица некоего священника Иоанна Венецианца с предложением о мире. В письме заранее подтверждалась вассальная зависимость Моравии от немецкого королевского дома. Тем самым обеим сторонам предлагалось закрыть глаза на столкновение у стен Велеграда. Карломаня такое условие как будто устраивало, хотя бы на время. Мир был заключён в баварском замке Форхайм. Похоже, что оба участника сделки радовались каждый своей победе.

Но сказать ли про Мефодия, что он с особой радостью на душе повторно возвращался в столицу Моравии? Где уж там. Десять лет назад, когда они с покойным братом поспешали сюда из Константинополя, лежала перед ними дорога чистая, без единой ухабины. Теперь же всё изрыто вдоль и поперек, и не знаешь, за каким лесным бугром ждать новой засады.

Благо ещё заботливый Папа Иоанн VIII распорядился дать претерпевшему архиепископу и его спутникам в провозатые своего легата – епископа Павла Анконского, который следовал вместе с ними от самого места освобождения до Велеграда.

О том, чтобы завернуть с дороги в Сирмиум, городок на Саве, ещё в решении покойного Папы Адриана означенный как центр восстанавливаемой древней архиепископии и как резиденция Мефодия, сейчас речь не заходила. Как и во время короткой побывки у князя Коцела, не заходила больше речь о том, чтобы Мефодию остаться здесь и перенести в Паннонию свою владичную резиденцию из Сирмиума и открыть в Блатнограде большую школу.

Похоже, что почти четыре года, прошедшие со времени их последней встречи, сильно остудили бывшее рвение паннонского князя. А ведь кажется, совсем недавно, узнав, что Мефодий схвачен и находится неведомо где, князь слал письма в Рим, хлопотал перед курией о судьбе человека, которого, как и его покойного брата, считал чуть ли не посланцами самого Господа в своём уделе.

В *“Житии Мефодия”* есть выразительное объяснение произошедшей с Коцелом перемены. Баварские епископы, с великой неохотой отпуская Мефодия на свободу и прослышав, что он намерен посетить Блатноград, поторопились отправить Коцелу письменную угрозу: *“Аще сего имаше у себе, не избудеши нас добре”*. Словом, условие поставили: или он – или мы: примешь его у себя, от нас добра не жди.

Наверное, князь пожаловался гостю на незавидную свою участь. Если немцы с Ростиславом, его добрым другом и союзником, так жестоко обошлись, если столькие беды претерпел от них Мефодий, уже будучи архиепископом, то посчитаются ли они с живущим у них прямо под боком паннонским дюком?

Что мог сказать Мефодий, слушая эти жалобы и оправдания? Что не пристало славянскому князю вести себя так малодушно? Что надо стоять на своей правде до конца, как Ростислав стоял? Или лучше подражать стеблю блатенского камыша, беспрерывно наклоняться туда-сюда, равняясь на таких же шатучих, тоскливо шепчущих про свои и чужие страхи: тише, тише, чтоб никто не дослышал?..

Надо бы помнить князю, что это и его, Коцела, имел в виду Христос, когда говорил: *“Жатва велика, а делателей мало”*.

Похоже, то была последняя встреча. Ни в *“Житии Мефодия”*, ни в бумагах папской канцелярии, ни в архивных документах Зальцбургской архиепи-

скопии Коцел больше не упоминается. Никто из исследователей не берётся точно определить, сколько ещё он правил в своём Блатнограде: год, два?.. Есть косвенные подтверждения того, что это именно он в 876 году, будучи вассалом королевства, был отправлен во главе франкского войска, чтобы подавить бунт далматинских хорватов, и погиб во время сражения.

Святополк

А что же князь Моравский? При встрече с Мефодием в Велеграде он выглядел, не в пример Коцелу, возбуждённо-жизнерадостным, пышущим важными намерениями. Он будто пребывал слегка во хмелю от собственной ловкости, с которой неизменно выходил из передраг последних лет.

Его, похоже, совсем не удручало, что после подписания мира с Карломанем к моравлянам прибыл целый полк немецких священников, и во многих храмах, как ни в чём не бывало, возобновились службы на латыни. Будто ничего такого не замечая, он и Мефодия с его молодыми священниками не раз поощрял: пусть, как и раньше было заведено, правят славянскую литургию! Тем более разрешённую ныне Римом. И не только там, где прежде правили, но и новые храмы пусть строят. И школы свои пусть расширяют. И в книгописные мастерские пусть набирают способных отроков.

Его и в этом вскипающем на глазах соревновании как будто не столько занимала желанная для всех своих победа народного богослужебного языка над чужим, насильственно внедряемым, сколько тешили и возбуждали, как утончённого игрока, сами подробности возобновившейся распри умов.

Рассказывали, что он с немецкими духовниками встречается даже чаще, чем с Мефодием. И на мессах латинских прилежно сидит. И в Нитру, из которой вышел сам в большие князья и в которой теперь, будто в собственной епархии, обосновался швабский священник Вихинг, отлучается нередко. То ли на исповедь, то ли за новостями из королевского дома, то ли сам не прочь снабдить согладатя Вихинга свежими байками о Мефодии, то ли для охотничьих потех и прочих игрши.

Не один архиепископ с некоторой опаской привыкал-присматривался к новому хозяину моравского дома. В ближайшем окружении владыки большинство было таких, кто вспоминал годы правления покойного Ростислава с неизменным вздохом сожаления и сравнивал его со Святополком.

Как ни хлопотно было самому Мефодию после общения с прямодушным, нелукавым и обязательным Ростиславом приноравливать свои поступки к подчас непредсказуемым действиям его племянника, духовно опытный солунянин старался не поощрять среди своих помощников мечтаний о желаемой перемене власти.

Он был и в этом истинный византиец. Сколько бы на его родине ни случилось при разных императорах и патриархах распрей между мирской властью и церковной, истинный византиец ни за что не порадуетс случившемуся разладу. И не станет лихорадочно метаться, спеша с осуждениями той или другой стороны. Нет, он лучше помолится прилежней, крепче, истовей за тех и тех, чтобы уберёг их Господь от вражьих наущений. Может оступиться один человек, василевс он или патриарх, но такие *оступления* способны лишь временно затемнить образ и принцип желаемого и осуществляемого вопреки помехам согласия. Ибо ясно, что лишь благодаря этому так подчас трудно достигаемому согласию между Божиим и кесаревым, между Церковью и миром первая на земле христианская держава, вопреки вражьим козням, из века в век соблюдает свой путь и даруемые ей по благодати сроки.

Говорить о том, что такая держава или подобная ей близка к построению и в Моравии, было ещё рано. Как и в соседней Болгарии, всё здесь пока слишком зыбилось, слишком не походило на те неповторимые условия, в каких собралась однажды для своего поприща Византия-христианка. Но замысел устроения страны на новых духовных началах пустил первые корешки и в Моравии. Мефодию очевидно было, что миссионерские труды его и покойного брата Кирилла не развеялись прахом. До их приезда сюда князь Моймир уже пробовал собирать языческие славянские племена вокруг моравского княжества. Но ничего не вышло из тех простоватых механических сопряжений, потому что не стояло за ними высокой скрепляющей меты. Ну да, мы все

одного великого рода, одной крови и речи, но каждое племя со своими богами и божками, а дальше-то куда и как? И это озадачивало Ростислава. Потому и началось при нём вызревание замысла моравской Церкви, говорящей на родном языке о Троиедином Господе.

Мефодий не мог не видеть теперь, что Святополк по всем статьям недотягивает до Ростислава. Что в Святополке никак ещё не угмонится буйное языческое начало. Что порывистый, увлекающийся князь не столько верит в христианского Бога, сколько обряжается в христианина.

И всё же владыка не позволял себе усомниться в том, что князь искренне желает своей земле блага. И уж никак не мог заподозрить Святополка в холопской службе королевскому дому. Владыка, с его крепкой воинской закалкой, даже готов был поощрять пылкие ратные замыслы князя. Что худого в этих настойчивых хлопотах о расширении своей земли? И к востоку, и к западу от Моравии сколько еще сиротствует поодиночке славянских племён?!

Только станет ли крепче сама Моравия, расширившись за счёт язычников? Не повторить бы хоженных путей старого Моймира, уповавшего лишь на силу. Немецкая сила почему вышла сильнее? Немцы оправдывают свои захваты тем, что несут варварам истинное христианское просвещение. Славянские вожди догадываются, что уже им не отсидеться по глухomanям. Но не знают, к какой силе надёжней прислониться. А ведь на сегодня, так завтра могут они стать очередной добычей напористых немецких королей и епископов. Но разве моравляне не способны уже показать своим коснеющим в языке славянским соседям, что есть иное просвещение, не на чужом языке выказывающее свою истинность?

Узнав, что Святополк с недавних времён приятельствует с молодым чешским князем, который помогал ему в боевых делах против немцев и правит у ближайших на западе соседей, Мефодий захотел и сам повидаться с этим юношей. В один из его приездов к Святополку в Велеград владыка увидел чеха. Звали его Боривой или, как сами чехи предпочитали произносить, Борживой. Навостранный слух солунянина не впервой улавливал те малые различия, что позволяли поговору быстро сообразить, кто стоит перед тобою: чех или моравлянин. Язык один, зато говоров да наречий много. От этого подчас хлопотно становится, но и весело притом. Потому что и славян, слава Богу, пренемного. Куда больше, чем они с братом предполагали, собравшись на Дунай.

Боривой был вполне язычником, но с любопытством и твёрдо, не переминаясь с ноги на ногу, стоял за славянской обедней, потом на чьих-то крестинах. Мефодию радостно было наблюдать, что юноша с легким удивлением улавливает смысл произносимых молитв, сосредотачивается, под стать всем, когда торжественно звучат стихи из Апостола и Евангелия. Он будто в доме родном оказался, где не был почти с рождения, но где никто не косится на него, как на чужака.

В один из своих приездов Боривой сам выразил желание креститься. Здесь же, в Велеграде, совершенно было таинство, и правил службу владыка.

А вскоре Боривой сказал, что и его молодая жена пожелала стать христианкой, и пригласил Мефодия в их княжеский замок Градишин, на берегу Влтавы. Можно бы и поскорей поехать к ним, но не лучше ли крестить молодую женщину в собственном княжеском храме, в крещальне-баптистерии? Значит, для начала нужно помочь Боривою строителями, чтобы церковь в его Градишине из дерева срубить или из камня поставить. И тогда начнут открываться для молодой семьи и для всех, кто им пожелает последовать, великие смыслы следующих за крещением таинств – исповеди, причастия, венчания, миропомазания, отпевания. Вскоре первую в Градишине церковь построили, и она была посвящена, по совету Мефодия, памяти святого Климента.

Тогда-то владыка и собрался к Боривою. Звали крестницу Людмилой. Она оказалась не чешского рода, а сербского, и замуж отдана тоже из княжеского дома*. Когда Мефодий услышал об этом, впору было ему со вздохом подумать: как же велико и пока ещё для него неохватно архиепископское поле, доставшееся в наследование от сирмиумского святителя Андроника. Тут

* Надолго пережив своего мужа, скончавшегося в конце 880-х, Людмила, по интригам язычников, вынуждена была отправиться в изгнание и приняла мученическую кончину в 928 году. Позднее прах её был перенесен в Прагу. Блаженная Людмила почитается покровительницей Чехии. Православная Церковь празднует её память 29 сентября.

и сербские пределы, и хорватские. И в те края тоже пора бы ему торить свой владычный путь.

И это — лишь на западе и юго-западе от Моравии и Паннонии.

А у Святополка тем временем вызревали уже иные намерения. Ведь кроме сербов южных есть и другие сербы, лужицкие. Эти лужичане, или сорбы, как их чаще зовут, — тоже люди славянского рода и на своей земле сидят к северо-западу от чехов, по реке Спревье. Владыке с его священниками, дьяконами да певчими и к ним не мешало бы наведаться. Они, как и большинство чехов, тоже язычествуют по сей день.

За ними, ближе к Венедскому, или Готскому, морю, есть ещё племена: бодричи или ободриты, лютичи, тоже нашего слова люди. И полабские есть славяне, что на реке Лаббе живут. Немцы всех славян без разбора одним именем кличут: венды, венеды. Ещё при Карле Великом начали жестоко теснить тех же ободритов, лютичей, полабов. Совсем мало там, говорят, осталось славянского люду после тех походов, когда целые сёла-вески огнём жгли вместе с жителями.

Но и на север, и на восток, и до реки Тисы, до Карпатских гор, всё будет нашего же слова, нашей речи племена. И все они во язычестве, при своих богах и божках сидят, а куда им деваться?!.. Правит, к примеру, на Висле-реке сильный князь, но, видно, немцы ему крепко насолили, и он zelo против всех христиан озлоблен. Вот бы кого владыка попросил усовестить!

Мефодий и тут готов был свои действия согласовывать с намерениями Святополка. А потому отправил на Вислу к польскому князю послание. В житии оно приведено лишь в кратком пересказе, но вот как выглядит самый решительный довод и, одновременно, совет *“поганьску князю”* от лица человека, наделённого властью вязать словом и словом же разрешать:

“Добро ти ся крестити, сыну, волею своею на своей земли, да не пленен нодьми крещен будеши на чюжеи земли и помянеши мя”.

Судя по приписке *“Тако и бысть”*, строптивый князь не внял отеческому совету, который для него оказался пророческим. Хотя и был в итоге крещён, но не в своей земле и не по своей воле, а *нодьми*, то есть по принуждению.

Впрочем, Мефодий не стеснялся и Святополка укорять, замечая его нерадение к церковным службам. Однажды, услышав, что князь оправдывает своё затянувшееся отсутствие в Велеграде неудачами на ратном поле, владыка отрядил и к нему гонца. Как раз близился большой праздник, день первоверховных Апостолов Петра и Павла. Владыка просил передать князю, что уж в такой-то день негоже пропустить службу на родном языке в храме Господнем:

“Аще ми ся обещаеши на святый Петров день с вои своими сотворити у мене, веруюю в Бога, яко предати ти имать я вскоре”.

Иными словами, владыка повязал князя условием: если тот обещает со своими воинами в день Святого Петра быть у него в церкви, то Бог не замедлит предать князю в руки его неприятелей.

Святополк прибыл в срок. А вскоре, как сообщает агиограф, и это Мефодиево обещание, оно же предсказание, сбылось. Князь со своей дружиной, наконец, одержал победу.

Как было ученикам владыки после таких событий не заговорить с восхищением, что это в нём не что иное, как дар пророчества открыто действует! Но соблюдали почтительную сдержанность, опасаясь, что он, услышав такие разговоры, рассердится. Почаще им надо слова истинных пророков Божиих перечитывать и слушать. Вот где великие откровения, огненные прорицания сквозь тьму веков! А таким, как он, поручено только надзирать, будто в школьной палате, за взрослыми нерадивцами и ленивцами, да за лицемерами, которых и в храмах уже развелось.

Не у всех ли на глазах советник князя Святополка, из лучших его дружинников? И богат, и к церковной службе прилежен, и в крестных отцах любит предстоять. Да вот взял и сошёлся со своей же кумой. На все уговоры владыки прекратить блуд и разойтись и он, и она отвечают, как сговорились, отказом. И всё потому, что у священников-немцев нашли покровительство. Те ласкатели-льстецы, задобрённые деньгами, не находят в их сожительстве ничего зазорного и для других соблазнительного. Вот и совсем перестали в свою церковь заглядывать. Но час придёт, и уже не помогут им ласкатели. И не дождутся ниоткуда помощи.

И ведь сбылось, как и предрёк, и это сбылось. И стали они, по словам Псалмопевца, *яко прах, егоже возметае ветр от лица земли*. Разве же не пророчество!?

От тех лет и событий молва о неподкупном, справедливом, грозном в своих предсказаниях велеградском епископе стала шириться и за пределами Моравии. Особенно она прижилась в древних чешских преданиях, а из них попала позже в чешскую средневековую письменность. Из тех свидетельств явствует, что чехи запомнили Мефодия ещё и под другим именем, похожим на уличную кличку, — *Страхота*. Проще всего допустить, что речь шла только о прозвище, и оно было дано человеку, который своими обличениями умел напомнить слушателям о страхе Божиим или же просто вгонял провинившихся в смятение и страх суровым обликом и голосом. Впрочем, чешский учёный и писатель XVII века Павел Странски в своей книге “Чешская держава” упоминает имя Страхота как вполне официальное: “епископ греческого вероисповедания Страхота, то есть Метудиус или Методиус”. Как одного из создателей чешской Церкви упоминает Страхоту-Методиуса и более известный современник Странского — Ян Амос Коменский. Не так давно в среде болгарских учёных возникло предположение, что Страхота — мирское имя Мефодия, данное ему от рождения. А это будто бы подтверждает, что братья были не греки, а болгарские славяне*.

И всё же речь, скорее всего, идёт не о личном имени, а о почтительно-шутилом прозвище, которое Мефодий мог получить ещё в молодые свои лета от подчинённых ему славян. Ведь его высокое и грозное воинское звание стратиг (*στρατηγός*) так легко и весело отражалось в славянском Страхота. А если он до своего монашества всё-таки носил имя небесного архистратига Михаила (к чему всё больше склоняются в исследовательской среде), то прозвище приобретало ещё более высокое значение. Ибо страшен был полководец небесного воинства не только для мерзопакостных бесовских легионов, но и для самого Сатаны.

Судя по всему, понравилось прозвище и Мефодию, и он его не скрывал: Страхота так Страхота.

Рим

Между тем епископ Моравский сам дождался вестей, напомнивших ему, что и он — лицо подчинённое, обязанное отчитываться о своих словах, поступках, исповедуемых догматах веры.

Во второй половине лета 879 года князю Святополку доставили из Рима письмо от Папы Иоанна VIII. Апостолик высказывал в нём свои суждения в ответ на запрос князя по поводу неурядиц, возникших в церковной жизни Моравии. В частности, Папа сообщал, что в Риме было выслушано обвинение против епископа Мефодия, которое привёз порученец Святополка пресвитер Иоанн Венецианец. Папа выражал надежду на то, что князь при возникшем духовном нестроении будет держаться правой стороны. Обвинённому же в догматических отклонениях и нарушении богослужебных правил Мефодию велел прибыть в Рим для рассмотрения его дела.

Вряд ли Святополк дал прочитать это письмо своему епископу. В нём очень уже отчётливо обозначилось и его, князя, вольное или невольное участие в интриге, затеянной латинско-немецкой “партией”, к которой князь так благоволил. Но не мог Святополк при общении с владыкой и вовсе промолчать о полученном письме. Хотя бы потому, что апостолик уполномочил его направить Мефодия в Рим. Главное же, послание от *самого* наследника апостолического престола, судя по всему, первое в жизни князя, стало для него событием настолько незаурядным, настолько отозвалось трепетом в душе задлого игрока, что как же тут было промолчать! До сих пор он побеждал лишь на поле боя (пусть не всегда) или в умении перехитрить своих противников, таких же, как сам, хитрованов. А теперь получение *такого* письма вдруг вво-

* Подробнее о чешских и болгарских упоминаниях и толкованиях имени Страхота — в исследовании Ивана Г. Панчовски: Св. Методий Славянобългарски. Живот и Дейност // Годишник на Духовната Академия св. Климент Охридски. Т. XXVIII (LIV). София, 1986.

дило его в круг игроков высшей масти, которые и епископов способны ставить на место, а то и вовсе лишать места.

Если Мефодию было сообщено из содержания письма хотя бы то, что касалось его лично, он имел полное право не предпринимать совершенно никаких действий. И уж в любом случае не мчать сломя голову в Рим. Насколько он знает апостолика, тот не станет действовать по отношению к епископу, им самим назначенному, окольными путями. А потому он намерен ждать, что Папа Иоанн напишет ему сам.

В том же 879 году папский легат епископ Павел Анконский, тот самый, что пять лет назад по поручению Иоанна VIII помогал старшему солунянину и его ученикам благополучно вернуться в Велеград из ссылки, доставил в моравскую столицу и письмо апостолика к Мефодию. Канцелярия курии сработала безукоризненно, хотя с некоторым нарушением очерёдности посланий.

Своим содержанием письмо, действительно, подтверждало, что глава римской церкви резко изменил отношение к единственному епископу-греку в землях славян. “Слышал еще, что служишь литургию на варварском языке, то есть на языке славян”, – удивлялся папа и тут же категорически запрещал впредь совершать на таком неприличном языке божественные службы. Кроме того, из письма явствовало, что против моравского епископа выдвинуты обвинения в ереси. Всё это, настаивал папа, понуждает рассмотреть его дело в Риме.

Мефодий и сам видел необходимость прямого и нелицеприятного разговора с папой. Про себя он даже был рад письмам Иоанна VIII Святополку, а теперь и ему, Мефодию. Письма расставляли всех затейщиков интриги по своим местам. От латинских духовников он не ждал для себя никакой пощады, как не ждуг её от голодных цепных псов. Но он не предполагал, что настолько двучленным вновь окажется Святополк. Видимо, душе князя досаждала память о совершенном им предательстве Ростислава. И он, пытаясь освободиться от той памяти, загонял её в пущую темень новыми мелкими пакостями.

Виновным в выдвинутых против него обвинениях Мефодий себя, разумеется, не считал. Но если апостолик при встрече сочтёт его доводы неубедительными, значит, его с братом и их учеников многолетние труды окажутся под угрозой полнейшего уничтожения. Претерпеть – и в итоге из-за кого? Из-за таких нечистоплотных персон, как Вихинг и венецианский триязычник Иоанн? Опять закаркали, “яко враны на сокол”? Нет, Мефодий не желал и в мыслях смириться с подобным бесславьем.

Он мог счесть для себя оскорблением, что одновременно с ним отправляется на разбирательство в Рим и Вихинг. Но не сам ли Господь проверяет его ещё и таким испытанием? Ну, что ж, пусть и Вихинг при всех выслушает, кто из них двоих верно исповедует Никео-Константинопольский Символ веры, а кто его искажает своими лживыми прибавками, наподобие *filioque*.

Сведения о ходе следствия в “Житии Мефодия” отсутствуют. Видимо, никто из учеников владыки, способных быстро записывать устную речь, не был допущен на заседания малого синода. Не сохранилось и протоколов суда, который зимой 880 года под председательством Иоанна VIII разбирал обвинения против моравского епископа. Похоже, на ту пору было не до протоколов.

Дело в том, что в Риме ко времени начала процедур уже знали последние вести из Константинополя. Они не могли не озадачить всех здешних иерархов. Накануне в ромейской столице скончался патриарх Игнатий. Совершенно неожиданно император Василий повелел освободить из ссылки бывшего патриарха Фотия, и на созванном тут же Соборе Фотию были торжественно возвращены отнятые у него десять лет назад полномочия главы Константинопольской патриархии.

Хотя напрямую эти события как будто никак не были связаны с делом Мефодия, участники заседаний в Риме не могли не знать, что перед ними стоит тот самый грек, который в своё время из Константинополя был направлен вместе со своим покойным братом в Моравию именно по благословию Фотия.

Вряд ли сам Мефодий счёл нужным напоминать сейчас об этом. Но не мешало напомнить, что и Рим, и Константинополь остаются верны освящённому веками Символу веры, который, как здесь известно, пытаются исказить некоторые испанские, а теперь уже и немецкие епископы. Символ, который последовательно и твёрдо отстаивал в своих посланиях именно патриарх Фотий ещё до своей ссылки.

И, конечно, стоило всё же высказать им своё удивление: неужели многие из заседающих здесь забыли, как покойный папа Адриан II благословлял в Риме славянские богослужебные книги, привезенные братьями из Моравии? И как благословил тогда же, на Рождественских святках, отслужить славянские литургии в нескольких великих храмах города, в том числе и под сводами базилики Святого Петра? И как он же, Адриан, в письме славянским князьям Ростиславу и Коцелу благословил служить литургии для славян по-славянски и только Евангелие велел читать сначала по латыни, но тут же и по-славянски?

Что из поручений блаженной памяти Адриана не исполняется в Моравской земле? Если вдруг прекратятся славянские богослужения, десятки храмов там сразу же опустеют. Народ за пятнадцать лет не просто привык к славянским службам, он полюбил их, потому что людям открылся, наконец, смысл Христова Благовестия. В этом ли выискивают ересь? Нужно ли напоминать, что покойный апостолик Адриан нашёл еретическое уклонение как раз в доктрине триязычников-пилатников, до сих пор требующих исполнения христианских богослужений только на одном из трёх языков – греческом, латинском и еврейском?!

Выслушав объяснения сторон, папа Иоанн VIII вдруг, к немалому недоумению многих присутствующих, распорядился следующим образом: архиепископа Мефодия от всех возведённых на него вин полностью оправдать. Служба на славянском языке пусть правится и впредь в заведённом порядке во всех храмах, где служилась до сих пор.

Но чтобы и сторона, выставившая обвинения, не чувствовала себя пораженной в своём усердии, накануне отъезда Мефодия домой папа вручил ему буллу для князя Святополка. В ней Иоанн VIII поблагодарил князя за верность престолу Святого Петра, удовлетворил его просьбу о том, чтобы придворные службы отныне служились на латинском языке, сообщил также, что в Нитре открывается новая епископская кафедра, и на неё рукоположен пресвитер Вихинг, который будет находиться в подчинении у архиепископа Мефодия. Что же до богослужений на славянском языке, то они благословляются в установленном прежде порядке.

Однако, вернувшись в Велеград, старший солунянин вместо ожидаемой радости увидел на лицах своих духовных детей огорчение паче меры. Оказалось, Вихинг успел сюда из Рима раньше него и уже вручил князю какое-то иное письмо папы. Якобы в том письме признана его, Мефодия, вина в лжеучении и велено изгнать его из страны. Послание уже зачитывалось во всеулышание. Оттого все чада Церкви, верные владыке, и пребывают в плаче и скорби. Но немало объявилось и таких, что тут же переметнулись к Вихингу и теперь злорадствуют, с нетерпением ждут принародного осмеяния еретика, как только тот прибудет.

Мефодий не мешкая отправился в княжеский дворец. Святополка явно смутили вид вручаемой ему буллы от Иоанна VIII и её тут же озвученное содержание. Обескуражил князя и сам суровый облик владыки. Тот едва сдерживал превеликую досаду на своего собеседника, поверившего подделке и грубому оговору. Если князь до сих пор не может понять, какое же из двух писем настоящее, он, владыка, постарается в самые скорые сроки представить неопровержимое доказательство подлинности привезенной сейчас буллы. А пока просит не предпринимать по сему делу никаких поспешных решений.

Ему не хотелось думать, что и папа поддался повадкам снующих вокруг игроков и лицемеров: ему дал один свиток, а новоиспечённому епископу – предписания совсем иного рода.

Мы не знаем содержания письма Мефодия, адресованного в столицу Западной церкви, с которым, видимо, в те же самые сутки скрытно ускакал из Велеграда некий надёжный гонец. Можно лишь догадываться, что когда апостолик прочитал так стремительно доставленный ему свиток, то и сам решил не медлить.

Его ответ, отправленный теперь уже лично Мефодию, помечен 23 марта 880 года. По тону видно, что папа крайне смущён тем, как недостойно встречен в Моравии только что произведённый по его воле в архиепископы защитник славянского богослужения. Иоанн уверяет Мефодия, что никакого отдельного послания князю Святополку он не отправлял и никаких отдельных тайных инструкций другому епископу не давал. Апостолик ещё раз подтвер-

ждает истинность христианских воззрений Мефодия и надеется, что тот не усомнится в поддержке, которую оказывает ему святой престол.

В *“Житии Мефодия”* вся эта сумятица перекрещивающихся друг друга истинных и ложных новостей, всевозможных толков и пересудов, драглых наветов и подделок передана в восприятии верных чад владыки Мефодия, которые, несмотря ни на что, верят в его правоту. И потому, в конце концов, торжествуют вместе со своим незыблемым, как скала, духовным воеводой.

Получив письмо от 23 марта, он перво-наперво просит своих священников и дьяконов, чтобы оно было зачитано по всем верным ему церквам.

“Почтоше же апостоликовы книги, обретоша писание, — пишет агиограф, называя по обычаю письмо книгами и пересказывая далее по-славянски самую суть папской буллы, — яко брат наш Мефодий свят и правоверен есть и апостольско деяние делает и в руку его суть от Бога и от апостольского стола вся словенская страны, да его же проклянет, проклят, а его же святит, свят да буди”.

Вот какую высокую, поистине апостольскую власть вновь доверял Папа Иоанн VIII *“брату нашему Мефодию”!*

Именно вновь, потому что не могли, конечно, и учитель, и ученики не вспомнить при этом ситуацию почти десятилетней давности, когда неизвестный им новый Папа вызволил их из швабского узилища, не посчитавшись с решениями короля и зальцбургских епископов, и восстановил Мефодия на его епископской кафедре. Скорей всего, он потом и подзабыл об особенностях богослужебной практики в Моравии на *“народном языке”*. Иначе бы год назад не затребовал Мефодия к себе на суд по грубому немецко-венецианскому оговору. Но на суде снова вспомнил, кто стоит перед ним, и вновь вызволил из пут клеветы. Ну, что ему славянское письмо, славянская Церковь? Не пустая ли прихоть? Но вдруг сказал своё *“да”*, и никто не посмел перечить. Может, он, действительно, разглядел в Мефодии родную душу, собрата по духу неподкупной христианской совести?

После тех письменных выяснений правды и лжи они больше не встречались. И, судя по всему, не переписывались. К тому же, не прошло и двух лет, как папы Иоанна VIII не стало. Старый исторический источник (которому, по правилам *“хорошего тона”*, принято не очень доверять)* сообщает, что он умер насильственной смертью. Подозрение пало на соперников в борьбе за престол; апостолика пытались сначала отравить, но яд не подействовал, и тогда он был убит ударом молота по голове. Впрочем, погребение прошло по обычному протоколу, с соблюдением почестей, соответствующих папскому достоинству, в базилике Святого Петра, недалеко от врат, именуемых Судными.

Царьград

Казалось бы, после того, как подлинные письма Иоанна VIII князю Святополку, а затем и Мефодию были всеюдно оглашены, зачинщикам расправы над владыкой оставалось если не усювеститься и покаяться, то хотя бы уgomониться. Что же до Святополка, то он во всей этой поддержанной им смуте, ничего, по сути, не потерял, а даже приобрёл: личное внимание Папы, его похвалу за верность апостолическому престолу, его поощрение латинским мессам в придворном храме. Его жажда великих игровых утех насытилась всем происшедшим сполна. У него теперь ещё и свой епископ в Нитре, лично ему обязанный возвеличением. А значит, открывается поле для очередных хитроумных ходов, для сталкивания самолюбий этих подвластных ему церковных князьков — славянского и немецкого.

Да, настоящая власть была и будет не у заезжего грека и не у прикормленного шваба, а у него, превратившего на глазах у соседей малое и хилое при Ростиславе Моравское княжество в Великоморавскую державу. В немецком королевском доме после смерти Людовика как затеялись, так и длятся распри между наследниками, и Карломаню теперь совсем не до него, Святополка. Теперь, куда бы он ни глянул, полная свобода действий: на западе — до Лужицких гор Чернобога и Белобога, на севере — до Янтарного моря, на востоке — до Карпатских планин.

* Речь идёт о *“Регенсбургских анналах”* (продолжении анналов аббатства Фульда).

А потому как раз впору оказалось для князя доставленное ему то ли из Нитры, то ли от мимоезжих купцов-всезнаек мнение: ладно бы Рим, но по-настоящему худы дела у Мефодия с совсем другой стороны: сильно он прогневил византийского кесаря тем, что напрочь отбил ся от своего царства. Потому и застрял в Велеграде, что Константинополь его добром теперь уже не встретит. . .

По княжескому разумению, всё как будто совпадало с таким слухом. Более шестнадцати лет минуло, как братья-византийцы сюда пожаловали. И послал их не нынешний император Василий, а ещё Михаил, которого этот Василий сжил со свету за пьянство. И приехали греки всего на три-четыре года. Но Мефодий после смерти брата не отбыл из Рима напрямик домой, в свой Царьград, а напросился в епископы сюда. Значит, точно, ещё с тех пор страшится кесаревой расправы?

А потому пусть и этот слух гуляет без препятствий по Велеграду. Надо, чтобы и грек услышал то, что о нём все знают. Пусть усмирит свой владыч-ный нор. . .

Агиограф Мефодия не утаивает от читателей злорадной сплетни, подделанной под горькую правду. Но тут же, как о великой радости для всех сподвижников владыки, сообщает о письме, полученном из Константинополя.

Будто сам Господь положил на сердце государю милосердное попечение о старом уже человеке, и эти простые, идущие от души слова приветствия и пожеланий:

“Отче честныи, вельми тебе желаю видети. То добро сотвори потруди ся до нас, да тя видим, дондеже еси (пока пребываешь) на сем свете, и молитву твою приимем”.

Что и говорить, Мефодий вряд ли надеялся получить однажды такое письмо. Оно было от человека, которого он если когда и видел среди придворных лиц, то лишь мельком, потому что тот был конюхом из Македонии, пусть и приближенным, благодаря столичному ипподрому и царёвой конюшне, к самому трону. Письмо было от василевса, взявшего власть насильственным способом. От императора, который почти сразу после своего воцарения отправил в ссылку патриарха Фотия, а как раз Фотий вместе с убиенным Михаилом III и собирал его и Философа в Моравскую землю. Правда, не так давно Василий вернул Фотия из ссылки и восстановил его в патриаршем достоинстве. Может быть, теперь как раз Фотий – а кто же ещё? – и подсказал государю послать письмо старому Мефодию, который неизвестно, жив ли – нет ли?

Но что ему догадки строить! Надо, не откладывая надолго, собираться. Путь не близок, а время ненадёжно.

Житийный отчёт о поездке скуп на слова:

“Абие же (вскоре) шедшу ему тамо, прият и (их) с честью цесарь великою и радостью и ученицы его похваль, удержаша от ученик его попа и дьякона с книгами. Всю же волю его сотвори, елико хоте, и не ослушав ни о чемом же (не воспрепятствовал ни в чём), облюбль (обласкал) и одарь вельми, проводи и паки славьно до своего стола. Тако же и патриарх”.

Для нужд биографического повествования этому отчёту также понадобятся посильная реконструкция, включающая в себя и наиболее вероятные психологические мотивировки событий.

Итак, Мефодий следовал в Константинополь с избранными учениками. Он догадывался, что государь захочет не только поглядеть на увенчанного сединами Христова воина, так долго исполнявшего на чужбине особое поручение своей державы, но и узнать: а в чём же всё-таки за такой немалый срок преуспели два его подданных – этот старый солунянин и его покойный брат?

Для того и были с Мефодием священник, дьякон, певчие. Владыка очень надеялся, что и патриарх Фотий, и василевс выразят желание послушать славянскую литургию, и эта служба станет, как и в Риме когда-то, самым достоверным свидетельством его с Философом трудов.

А потому и книги везли, по которым будут читать и петь. И ещё Евангелие с Апостолом и Псалтирю в исполнении лучших моравлянских книгописцев и художников – это уже для даров и василевсу, и патриарху. Вообще владыка постарался, чтобы книжная поклажа, следующая с ним в великую столицу, представляла собой добротные списки всех богослужебных переводов, которые они с Кириллом успели осуществить.

Да, время даже слишком ненадёжно. Не было у Мефодия уверенности в том, что вихри последних лет, едва не разорившие саму славянскую Церковь в Моравии, угомонились насовсем. Что, если опять они пронесутся по нивам, сокрушат, втопчут в прах побелевшие колосья? Хотя бы часть жатвы нужно собрать в крепкие меха, отвезти и сыпать в более надёжную, по его предчувствию, житницу.

Церковь болгарская, как он узнавал по дороге, похоже, снова восстанавливает порушенные было отношения с константинопольской патриархией. Там и сям открываются у болгарских славян новые епархии, сельские приходы. Но служат-то, как и раньше, по-гречески! Долго ли такое взаимное неразумение продлится может? Вот где пригодились бы его сметливые моравские дети с их знанием славянского богослужения.

В житии не сказано, где именно по прибытии в город служили славянскую литургию. В придворной домово́й церкви? По соседству с дворцами, у святой Ирины? У Апостолов? Или даже под сводами Софии? Где бы это ни происходило, но как желал Мефодий, чтобы и под купол святой Софии вознеслось ликующее:

“С нами Бог, с нами Бог! Разумейте вси языцы и покоряйтеся, покоряйтеся, яко с нами Бог!”

О, как бы брат его, прошедший под этими сводами сокровенные часы своей юности, порадовался теперь славянскому торжеству Православия, звучащему, наконец, в городе, который однажды проводил их за Дунай!..

Судя по тому, что сам василевс после службы не только похвалил Мефодиевых учеников, но и попросил владыку оставить их в Константинополе, государева радость тоже была изобильна. Похоже, свежей выразительностью “скифского” богослужения, яркими заглавными буквицами самых первых в мире “скифских” книг он захочет теперь потчевать своих знатных гостей из иных стран. И не в последнюю очередь – подвигит и озадачит завистливых болгарских боилов: вот что у нас есть! Какие книги! Какое пение, какая красота!.. Вот что и у вас может появиться, присылайте только побольше прилежных учеников, способных быстро усвоить греческую грамоту, а вместе с нею и ладный славянский буквенный строй.

Об открывающейся возможности более надёжного просвещения болгар – и только ли их? – василевс и патриарх говорили с Мефодием душа в душу. Не в такие ли минуты и удостоверятся на небесах желанность и достижимость симфонии на земле – благодетельного согласия между устремлениями светской и церковной властей?!

Заходил ли разговор в те часы о том, что Мефодий сполна и даже с преизбытком потрудился и нужно ли ему теперь снова собираться к его “простой чади”? Если и заходил, то владыка мог лишь поблагодарить за трогательное попечение о его сугубых годах, но в намерении возвратиться на малую речку Мораву был твёрд. Его ведь не архиепископское почитание там прельщает. И он не Папе едет служить, не князю, а молодому Христову народу, среди которого и хотел бы прозреть в вере до конца своих земных служб.

Василевс распорядился, чтобы владыка взял с собой достойные дары для туземного князя, щедростью своей способные подсказать, как высоко ценит Ромейская империя своего маститого старца. И тем самым надумать Святополка: береги же его, как зеницу ока своего, он – наше и твоё сокровище.

Язык подарков груб своей броской прямолинейностью, но доходчив. В этом Мефодий ещё раз убедился, когда увидел, уже в Велеграде, как засияли при виде вручаемых от кесаря даров глаза князя и его советников. И с каким благодарным умилением станут они теперь посматривать и на него, такие дары в целостности им привезшего.

Владыка знал, что в Константинов град, к свежим стремительным бурнам Босфора, к матовому свечению мирной Пропонтиды уже ему не вернуться. Хватило ли сил в ногах и дыхания в груди, чтобы на прощанье по мощёным булыжником пандусам и узким лестницам в стенах Софии взойти к самому её куполу, ступить на горячую смотровую кромку? Отсюда в ясный день можно было различить за Принцевыми островами полосу малоазийского побережья, спящие холмы Вифинии и три неподвижные серебряные главы, подобия об-

лаков, — Малый Олимп. И туда уже не будет ему пути. Только стаи ласточек, с сумасшедшим ликованием носясь вокруг купола, гомонят свой двусложный клич: в путь-путь, в путь-путь!

А в Солуни, когда остановились на малый отдых, зашёл ли в базилику Святого Димитрия? Полюбовался ли по старинной привычке тем, как бережно каменная чаша города-амфитеатра накрывается к заливу? И как бездна морская призывает к себе по вечерам бездну небесную?..

Крепостные стены и башни, опоясывающие акрополь, мощью своей напоминали: всё ещё остаётся за ним долг перед святым покровителем их с братом родного города. По приезде в Моравию нужно ему, без всяких отлагательств, переложить, наконец, с греческого канон Димитрию Солунскому для пения его в славянских храмах... .

Среди стихов великой ектеньи, среди этих ежедневных вопрошаний, известных тебе и каждому, и в забытьи, и наяву, одна есть просьба к Господу, одна мольба, один порыв, одно горячее взывание о памяти, о помощи, о пощаде, и ты его, сколько бы раз оно ни звучало для тебя, всякий раз произносишь или слышишь словно впервые, и всякий раз оно неизменно омывается в душе твоей слезами тревоги, сострадания... .

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся!

И кто скажет, что тут упомянуты ещё не все, что кто-то в небрежении забыт, оставлен за бортом, за обочиной, брошен в беде? Нет же, все-все до единого уместились, все, кто были до нас, кто в сей день и в сей час подвергнуты испытанию, и все-все, с кем это случится завтра, потом, всегда, до самого конца. Потому-то стих этот — про всех. Ибо чья жизнь — не плавание по хребтам и пропастям житейского моря, не изнуряющее шествие, не череда болезней, страданий, чья жизнь — не плен, не узилище? Подай голос, счастливцев!

Если представишь себе, что за грехи людские обречено на погибель всё до последней страницы Священное Писание, и лишь на каком-то обугленном клочке пергамена осталась эта сиротская строка, то кто-нибудь из нечаянно уцелевших, найдя и прочитав её, подумает в изумлении: значит, были на свете люди, что умели так сострадать и так молиться за всех — за правых, и неправых, добрых и озлобленных. И потому их вера пощажена огнём. Всё погибло. А этот их горючий стих, нещадно царапающий своими звуками самый очерствелый слух, существует, цел... .

Да, в самих этих словах, особенно в славянском их облике, — *о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных* — ему с братом хотелось передать ещё и замедленно-текущую, надсадную поступь шествия, скрежет корабельных обшивок, скрип колёсных осей, шарканье подошв... .

Эти строки были из самых первых, что они перевели на Горе по просьбе учеников. Эти строки вообще, похоже, вместе с остальными стихами ектении, принадлежали к самому раннему достоянию Церкви и сотворены были первыми учениками Христовыми в ту пору, когда ещё и Евангелие с Апостолом не полностью легли на кожаные листы.

И, как часто бывало и прежде у них с Философом, вспоминался в дороге — рядом со стихами великой ектении — и Апостол Павел; и тогда читали вслух его скорбный перечень невзгод и скорбей — из второго письма к Коринфянам, как брат по-славянски изложил:

“В путных шествиих множицею: беды в реках, беды от разбойник, беды от сродник, беды от язык, беды в градах, беды в пустыни, беды в мори, беды во лжебратии. В труде и подвизе, во бдениих множицею, во алчбе и жажде, и в пощениих многаши, в зиме и наготе”.

Что тут было не про них, братьев, не про всех, кто до них? Удивительно лишь, что этот перечень скорбей всегда как-то придавал сил, а не угнетал.

... В *“Житии Мефодия”* самому прибытию владыки в Велеград не уделено ни строки. Нетрудно, однако, догадаться, что встреча была великим праздником для всех, кто его отсутствие переживал с острой тревогой: вернётся ли?... или Царьград его больше не захочет отдавать им?

ЦАРСКИЙ ПУТЬ

Профитологии

После возвращения из Константинополя с архиепископом произошла некая важная перемена. В течение более чем полугода он почти никого не принимал, почти никуда не выходил и не выезжал с обычными для архиерея посещениями храмов, училищ, мастерских.

Объяснение тому – в *“Житии Мефодия”*. Агиограф сообщает, что владыка *“... от ученик своих посажь два попы скорописьця зело, преложи вбрзе вся книги, вся исполнь разве Макавеи от гръчьска языка в словеньск шестию месяц начьн от марта месеца до двою десяту и шестию день октября месяца. Оконьчав же, достойную хвалу и славу Богу воздасть, дающему такову благодать и поспех. И святое возношение тайное с клиросомь вознес, сотвори память святого Димитрия. Пьсалтырь бо бе токмо и Евангелие с Апостоломь и избраными служьбами церьковными с Философомь преложил перьвее, тогда же и Номоканон, рекше Закону правило и отеческыя книги преложи”*.

Как ни подробно это объяснение, но оно, конечно же, нуждается в обстоятельном рассмотрении.

Итак, агиограф сообщает, что Мефодий усадил (*посажь*) за работу двух священников-скорописцев, весьма (*зело*) опытных, из своих учеников и перевёл (*преложи*) очень быстро (*вборзе*) с греческого языка на славянский все книги Священного Писания, и всё исполнил, кроме (*разве*) Макавеи (трёх книг, которые в Ветхом Завете именуются Маккавейскими) за шесть месяцев, начиная с марта до 26 октября (число месяцев указано неточно; на самом деле речь идёт о семи месяцах, если счёт от конца марта, или около восьми; год не указан, но приблизительно это 881-й или 882-й; по иному предположению – 884-й). Окончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу, давшему такую благодать и скорость в работе. И святую литургию с одними только певчими своими отслужив, сотворил канон в память Святого Димитрия (Солунского). Первоначально же (*перьвее*) они с Константином Философом перевели только Псалтырь и Евангелие с Апостолом и избранными церковными службами. Тогда же были переведены и Номоканон, иными словами Правилу закона, и Отеческие книги.

Хотя агиограф для начала сообщает о переводе Мефодием книг Ветхого Завета, но напоследок считает нужным упомянуть и его главные переводческие труды, предпринятые ещё при жизни младшего брата, а отчасти и совместно с ним. По сути, это краткий библиографический обзор славянских произведений Мефодия. В него не включены переведенные им с греческого сочинения Философа, уже известные нам по *“Житию Кирилла”*. Не включены и многочисленные молитвы, стихи церковных песнопений, которые совместно с братом или самостоятельно он озвучивал и записывал по-славянски ещё во времена жизни на Малом Олимпе. Из всего этого обширного наследия в обзоре представлен только канон великомученику Димитрию, работа под греческим названием Номоканон (по-славянски – Правилу закона) и некие книги, именуемые Отеческими*. Но и этот обзор, при его краткости, настолько впечатляет объёмом совершённого, что не случайно к нему было обращено самое пристальное внимание нескольких поколений исследователей. И в первую очередь, оно сосредоточивалось на том, с чего жизнеописатель начинает, – на переводе книг Ветхого Завета.

* Греческим источником переведенного Мефодием Номоканона принято считать византийский сборник церковных постановлений и гражданских законов, составителем которого был константинопольский патриарх Иоанн Схоластик (565–577). Книга нужна была моравским сотрудникам Мефодия как руководство, описывающее образ поведения священнослужителя в храме и в миру. К старейшим спискам этого труда на русской почве относят *“Устюжскую кормчую”* XIII века. Что до *“Отеческих книг”*, то слишком большой разброс мнений по поводу наиболее достоверного источника или источников этого перевода пока что мешает исследователям прийти к согласованному мнению. Заслуживают внимания публикации И. В. Лёвочкина, посвящённые знаменитому *“Изборнику Святослава 1073 года”* как одному из парадных списков, восходящих к переводу Мефодия. См. его работу: *“Отеческие книги и Изборник Святослава 1073 г<ода>”*. // Советское славяноведение. 1985. № 6.

Что и говорить, сведения, сообщаемые об этой части переводческих трудов Мефодия, способны вызвать сильное недоверие. В них вправе усомниться каждый, кто однажды держал в руках тяжелый том Библии и хотя бы пролистал, а тем более частично или полностью прочитал ту её часть, в которой описаны судьбы, деяния и воззрения ветхозаветного человечества, а затем и народа Израиля – до Рождества Христова. Для вдумчивого, сосредоточенного, ничем посторонним не отвлекаемого прочтения книг Ветхого Завета (пусть и за вычетом книг Маккавейских) нужны не месяцы, а годы. Конечно, скорость восприятия текста у новичков и людей, привыкших читать Библию, многократно различается. К примеру, опытный в чтении монах способен прочитать Четвероевангелие всего за несколько часов одного дня. Псалтирь по покойнику прочитывается за ночь. Но в нашем случае речь идёт не просто о чтении или скорописном воспроизведении услышанного, но о высоком искусстве перевода с одного языка на другой. Исследователи, не сомневающиеся в житийном описании события, приводят такой довод: Мефодий готовился к переводу Ветхого Завета длительное время и перед тем, как привлечь к работе священников-скорописцев, уже располагал черновыми записями, с которых просто надиктовывал страницу за страницей, книгу за книгой.

“Вся книги... разве Макавей”... Сомнения в возможности такого стремительного исполнения задуманного труда отпали бы, сохранись велеградские библейские переводы в своём полном первоначальном объёме. Но после кончины Мефодия они уцелели только частично. Не потому ли, что владыка, похоже, не успел вывезти с кем-нибудь в более пригодное для хранения место итоговую часть своей с братом *духовной жатвы*, как сделал это во время недавней поездки в Константинополь.

Известный знаток кирилло-мефодиевского книжного наследия, профессор А. В. Михайлов ещё в начале XX века предложил на обсуждение коллег самую скромную оценку объёма переводческих трудов солунских братьев. “Исторические памятники, – писал он, – свидетельствуют, что первоучители славян перевели на церковнославянский язык с греческого всю Библию кроме Маккавеев. Причём Кирилл и Мефодий перевели вместе только Евангелие и Апостол (апракос), Псалтирь и Паремийник, а все прочие книги перевёл после смерти брата... Мефодий. Но так ли это? В настоящее время только относительно церковнославянского перевода Евангелия, Апостола, Псалтири и библейских отрывков, вошедших в Паремийник, можно с уверенностью сказать, что они восходят к эпохе Кирилла и Мефодия и дело их рук. Что касается других книг Священного Писания и других ветхозаветных текстов, не вошедших в Паремийник, то об их отношении к литературной деятельности Кирилла и Мефодия наука до сих пор ничего определённого сказать не может”.

Такой малоутешительный вывод вроде бы трудно согласовать с мнением, которое высказал автор, творивший всего двумя-тремя десятилетиями позже Мефодия. Это Иоанн Экзарх Болгарский, один из выдающихся славянских просветителей той эпохи. В своём предисловии к переводу книги “Богословие” (“Небеса”) Иоанна Дамаскина он упомянул сначала Кирилла, который “многы троуды прия, строя писмена словеньскихъ книгъ и отъ Евангелия и Апостола прелагая изборъ”, а затем и архиепископа Мефодия, который “преложи вся уставныя кънигы 60 отъ елиньска языка, еже есть греческъ, въ словеньскъ”.

Это же число переведенных Мефодием библейских книг находим и в Проложном житии Кирилла и Мефодия: *“... преложи вься 60 книгъ Ветхааго и Новаго закона от гречьскаго в словеньскыи”*.

Одно из двух: либо эти цифры и свидетельства, исходящие от почти современников солунских братьев, нужно отнести к панегирическим преувеличениям, либо сдержанный в выводах А. В. Михайлов недооценил подлинные размеры их переводческого творчества.

Конечно, при начале своих трудов братья, как мы помним, ограничивали себя задачами только богослужебного, по точному определению Иоанна Экзарха, *избора*. Избранное Евангелие-апракос, избранный Апостол-апракос... Даже перевод Мефодием Псалтири поначалу, можно догадываться, ограничивался псалмами и отрывками из них, постоянно звучащими в церковных службах, и лишь постепенно этот *избор* восполнялся, чтобы к концу его жизни приобрести облик полной 150-псалмовой Псалтири.

Но что же имел в виду Михайлов, говоря о Паремийнике как ещё одном безусловном труде братьев? Название это попало в русский церковный оби-

ход из греческого, где слово *παροιμία* означает “притча”, “пословица”. Паремийниками называли сборники для богослужебных чтений, составленные по преимуществу на основе ветхозаветных книг. Отрывки из них, паремии, иногда звучали во время литургии, но чаще всего – в составе праздничных вечерних служб. Здесь были представлены почти в полном объёме “Притчи Соломоновы”, отчего за сборниками и закрепилось это название. Впрочем, в греческом употреблении они чаще именовались профитологиями, то есть “книгами пророков”.

Последнее название более соответствовало содержанию ветхозаветных чтений, поскольку за каждым из них стояло авторитетное имя одного из пророков. Имя Моисея, которого почитали как великого законоучителя, создателя первых пяти книг Библии, в том числе книги Бытия. Или имя того же Соломона с его Притчами и Книгой премудростей. Или имя Исаяи, пророка из пророков, которому принадлежат самые пророческие из предсказаний о Рождестве Христовом. Не случайно и книга Исаяи почти в полном объёме представлена в паремийниках. Но не обойдены вниманием и пророк Иезекииль с его знаменитым пророческим видением о четырёх евангелистах, и Иеремия, и Даниил, и так называемые “малые” пророки – Аггей, Малахия, Софоний, Михей, Иона, Аввакум, Осия, Захарий... И книга Иова. И книги Царств, в которых повествуется о пророках Или и Елисее.

Так, на праздничной вечерне Преображения Господня читались (и по сей день неизменно читаются) паремии из Исхода и Царств – о явлении Бога пророку Моисею на горе Синай и о наставлениях Господних пророку Или. Эти отрывки предваряли чтение евангельского зачала о горе Преображения, где Христос предстал апостолам в таинственном собеседовании с Моисеем и Илией.

Для своих переводов Псалтири и паремийных чтений братья, естественно, брали за образец практику Константинопольской Церкви того века, а в ней ветхозаветные паремии Священного Писания были представлены в законодательной для всего православного Востока Лукиановской редакции Септуагинты.

Это был не их выбор, а *избор* всей Церкви Христовой. Она сама из века в век мудро наставляла, что христианину нужно помнить из Ветхого Завета в первую очередь, а что можно отложить, как “всякое житейское попечение”, для чтения в келье или в мирском жильё.

В понимании Церкви Ветхий Завет был царским путём ко Христу. Узкий и тесный путь, и его никто не устилал мягкими коврами, не забрасывал лепестками лилий и роз. Путь, по которому шествовали великие провидцы, осыпаемые злобой бранью, плевками, градом камней. Земные же цари, обличаемые пророками за жестокость, лицемерие, стяжательство и лихоимство, отправляли сих праведных на мучения, на позорную смерть. Но выходили на тот путь новые страстотерпцы духа, предтечи, укрепляемые светом озарений, вдохновленных свыше.

Таков был в понимании Церкви единственно верный смысл всей ветхозаветной истории. Не найти её живой промыслительный ток в хрониках династий и колен, в триумфах племенной гордыни, в чреде чудовищных ритуальных отмищений. По сути своей, это была история малой горстки *богоизбранных*, чающих пришествия обещанного от Господа помазанника. История сокровенных предчувствий, выстрадавших надежд на приход в мир милосердного Спасителя. Но одновременно и жертвенного агнца, которого предадут на позорное мучение.

...Служебный распорядок молодой моравской Церкви, каким он выстраивался когда-то с приездом братьев в Велеград, не мог оставаться неизменным. Прирастала народом паства, прибавлялось число приходо-городских и сельских. От недельных (воскресных) и праздничных служб пришла пора переходить – хотя бы во владычном соборе для начала – к службам ежедневным, для которых первоначальных кратких апракосов уже не хватало. Служебные Евангелие, Апостол, Паремийник пополнялись новыми зачалами и чтениями. Нужно было обзаводиться и книгами *четырьми* – для домашнего чтения: Четвероевангелием, полным Новым Заветом, полной Псалтирью. Рано или поздно славянин-священник, славянин-монах, славянин-прихожанин хотел и имел право получить представление обо всех книгах Священного Писания – от Бытия до Апокалипсиса.

Вот какие побуждения подвигли однажды архиепископа Великоморавского развернуть перед собой и священниками-скорописцами *вся книги*.

Но сколько именно насчитывалось в их работе книг? Если вспомнить число 60, которое приводит Иоанн Экзарх Болгарский и автор Проложного жития, то выходит, что Мефодием был предпринят не только перевод ветхозаветных, но и пополнение объёма славянских новозаветных книг. В предреволюционном Синодальном издании церковнославянской Библии Ветхий Завет, включая и три книги Маккавейские, представлен пятьюдесятью названиями. В Новом Завете, соответственно, двадцать восемь, считая и Апокалипсис, который в храмовых службах не звучал. Но для Нового Завета мог быть в ходу иной счёт: всего 5 (четыре евангелия и Апостол, включающий в себя Деяния Апостолов и их послания). И при том, и при другом счёте общее число 60 не собирается.

Цифровые подсчёты оказываются ненадёжным средством ещё и потому, что для IX века нет достаточно выверенных сведений о том, каков был канон или “устав” ветхозаветных книг, принятых к чтению в разных поместных Церквях.

В любом случае, Мефодий со своими сотрудниками, кроме книг Маккавеев, не выкладывали на рабочий стол ещё несколько книг, считавшихся неканоническими (Юдифь, Товит и некоторые другие сочинения).

Отсутствие в современных книгохранилищах подлинных славянских рукописей из кирилло-мефодиевской книжной мастерской вовсе не означает, что пытливому исследователю невозможно приблизиться к первоисточнику на расстояние почти вытянутой руки. К счастью, не всё утерянное пропадает навсегда и навсегда. Сохранилось несколько кириллических и глаголических рукописей XI, XII и более поздних веков, которые вполне могли быть списками если не с самих рукописных книг, созданных братьями и их учениками, то копиями первых списков. Нередко устойчивые словарные и грамматические приметы кирилло-мефодиевского литературного стиля просматриваются в древнерусских богослужебных рукописях вплоть до XIV–XV веков. Свидетельство тому – первая древнерусская полная Библия, знаменитая Геннадиевская, названная так по имени новгородского архиепископа, жившего в XV веке.

По итогам современных исследовательских поисков, к творческому достоянию Мефодия неуклонно возвращаются целые главы из его утерянных, казалось бы, навсегда, библейских переводов. Тем самым преодолеваются скептические ограничения, предложенные в своё время А. В. Михайловым. Но к каким бы итоговым выводам по этому поводу наука не пришла, самым великим из ветхозаветных переводов, оставленных Мефодием славянскому миру, навсегда пребудет книга псалмов Давидовых.

“Из всех книг, написанных руками человеческими, ни одна, не исключая даже Евангелий, не положила на христианское чувство и сознание печати столь неизгладимой, столь повсеместной, столь властной, как именно Псалтирь. Самая пророческая из пророческих книг, она стала азбукой христианства. В то же время она остаётся венцом молитвенного песнопения, недостижимым образцом, неиссякаемым источником, питающим поэтическое творчество двух тысячелетий”.

Это слова замечательного русского педагога Сергея Рачинского из его книги “Сельская школа”. О том, что слова эти не преувеличенны, а глубоко пережиты, скажет ещё один отрывок из очерка “Чтение Псалтири в начальной школе”:

“Мальчик, научившийся в школе, хотя механически, но бегло и истово читать Псалтирь, не расстанется с нею до гроба. Случалось ли вам, при вынужденной ночёвке в крестьянской избе, осмотрев от скуки всю скудную её обстановку, раскрыть ту единственную книгу, которая лежит под полкой с образами? В огромном большинстве случаев эта книга – Псалтирь. Запятнаны её страницы, обтёрты её углы. Но не одна грязь мозолистых рук оставила эти пятна. Тут есть капли воска, есть капли слёз, медленно падавшие на эти страницы во время долгих ночных чтений по дорогим покойникам. Не рассеянною небрежностью истрёпаны эти углы; но благоговейным переворачиванием этих страниц, быть может, многими поколениями. И при всяком чтении для чтеца, по мере его умственного и нравственного роста, ярким пламенем вспыхивал внутренний смысл того или другого речения, до тех пор для него непонятного; и с каждым чтением дороже становилась ему эта книга, лежащая под образами”.

Кажется, как непредставимо велико расстояние, – не столько в пространстве, сколько во времени, – между славянскими псалмами Мефодия и обык-

новенной русской избой, где при свече или лучине мальчик вычитывает ка-
физмы у тела почившего отца или брата, а сельский учитель коротает путевую
ночь. Но путь перед всеми — один и тот же: царская дорога ко Христу.

Несправедливо было бы не привести здесь ещё одно обобщение Рачин-
ского. Отдав должное высоким поэтическим достоинствам греческой Псалти-
ри, он продолжает: “И этот-то текст, с изумительной точностью, с вдохновен-
ною смелостью был переложен на язык юный и свежий, но богатый и гибкий,
при этом впервые вошедший в полную свою силу, и перевод этот наложил на
юный язык неизгладимую печать. Язык этот сделался книжным языком вели-
кого христианского народа и до сих пор остаётся живым элементом русской
речи, письменной и устной.

Самый же перевод стал одним из величайших сокровищ этого великого
народа. Каждое его слово, постоянно звучащее в торжественные минуты об-
щественного богослужения, своеобразный ритм каждого стиха, закреплённый
дивными напевами прокимнов, антифонов, причастных, срослись со всеми
отголосками сердечной памяти, со всеми изгибами верующей души”.

Горазд

Подошла пора, когда велеградские ученики, почувствовав в облике
и распорядке жизни своего владыки признаки возрастающей усталости, под-
ступились к нему, не без смущения, с вопросом, который всегда в таких слу-
чаях вроде бы и неловко задавать, но и таить про себя негоже:

*“Кого чуеши, отче и учителю чесьныи, в ученицех своих, дабы от учения
твоего тебе настольник был?”*

Казалось бы, с вопросом об ученике, достойном и способном заменить
его на архиепископском столе, обращаться следовало совсем не к нему. Раз-
ве в его власти утверждать себе духовного наследника? В Риме, в Риме всё
решается и решится! В том числе и судьба преемничества на его захолустной
кафедре. Но какие ветры подуют из Рима теперь, после неожиданной вести
о скоропостижной кончине Иоанна VIII? Пусть не всегда и не во всём оказы-
вался папа его надёжным заступником. Но поискать бы надо ещё таких покрови-
телей, как старый Адриан и этот его преемник, совсем ещё не стариком
уложенный в каменную раку.

Архиепископская власть давала и Мефодию право рукополагать в еписко-
пы достойных избранников. Но при этом, по старому церковному канону,
в поставлении требуется, кроме него, участие ещё двух епископов. Один у не-
го был, только кто же? Вихинг! Его недреманный соглядатай. Сидит пока что
в Нитре, но вожделеет тотчас переселиться к Святополку в столицу, как толь-
ко помрёт ненавистный ему старый грек.

Хотя при покойной апостолике Иоанне заходила речь о необходимости от-
крыть в преобширной Моравии хотя бы ещё одну епископскую кафедру, что-
бы у себя на месте втроем рукополагать новых священников и даже еписко-
пов, но в коловращении тогдашних интриг обещание позабылось. А теперь —
кому писать или к кому ехать в Рим по этому делу о его, Мефодия, желаемом
наследнике?

Нет, вопрос, заданный учениками, не поставил его в тупик и вовсе не вы-
глядел преждевременным.

*“Показа же им единого от извесътных ученик своих, нарицаемаго Гораз-
да, глаголя: “Сеи есть ваша земля свобода мужь, учен же добре в латинь-
ская книги, правоверен. То буди Божия воля и ваша любы, яко же и моя”.*

Таков ответ, читаемый в *“Житии Мефодия”*. Выбор владыки пал на Гораз-
да. Всё, что сказано было о нём, уместилось, как видим, всего в одно крат-
кое предложение. Но не лишне заметить сразу же, что это единственный из
учеников, названный во всём житии по имени (*“Житие Кирилла”* не называет
вообще ни одного). И вот в таком подчёркнутом внимании к имени прочиты-
вается уже не воля владыки, а безусловное согласие с его выбором всех, кто
присутствовал и признал мудрую правоту старца.

Почему Горазд? Для начала потому, что он *“свобода муж”*. По понятиям
того времени, речь шла даже не о личной свободе, а о принадлежности к из-
бранному сословию, к людям родовитым и именитым. Разве это не преиму-
щество на случай, если против такого избранника начнёт злоумышлять заез-

жий шваб Вихинг? Уж тут-то моравская знать не даст в обиду выходца из своей среды.

Вторым преимуществом было то, что священник Горазд, как все ученики Мефодия, читал и по-гречески, и по-латыни. К тому же он не просто преуспел в латинской грамоте, но знал и латинскую церковную службу. А ведь знание такое пригождалось всякий раз, когда за литургией надо было сначала читать Апостол и Евангелие латинской речью, на чём настаивал Рим, а потом уже, если угодно, по-гречески или славянски.

Но ещё более был Горазд способен, успешен и горазд, — чем и оправдывал своё имя, похожее на добродушное семейное или уличное прозвище, — в усвоении смысла, чина и последования славянской службы. Наконец же и во-первых, был он твёрд и, по определению владыки, *правовверен* в стоянии своём за нерушимость христианского исповедания, то и дело подвергаемого нападкам триязычников или изобретателей *filioque*.

Вопрос о преемнике никак не мог решиться сам по себе. Свой выбор владыке следовало отстоять, как ни обременительно в его лета было готовиться к очередному посещению папской канцелярии, а иных мест, где бы ему постоять за своего Горазда, добившись его рукоположения в епископы, Мефодий не знал. Ехать же в Рим, не дождавшись вызова от нового апостолика, он тоже не мог. Его неожиданное появление сочли бы, в лучшем случае, дисциплинарным проступком.

Однако шли месяц за месяцем, а от нового папы никаких сообщений не поступало. Так ни единого и не пришло. Причину его молчания напоследок искали в том, что папский век этого апостолика по имени Марин оказался очень уж короток — менее полутора лет. Из немногих вестей, дошедших до Велеграда при его правлении, одна насторожила: Марин, оказывается, быстро успел рассориться с императором Василием и с патриархом Фотием. Да и вторая весть озадачила: в Рим по воле Марина был возвращён епископ Формоза, осуждённый покойным Иоанном VIII за участие в заговоре. Этого Формозу Мефодий запомнил ещё по первому приезду в Рим. Когда папа Адриан II благословил посвятить во священники трёх моравских учеников, то поручил совершать рукоположение двум епископам, в том числе Формозе. Уже в те часы знакомства Философу и Мефодию было видно, что Формоза по духу своему — истовый триязычник и поручение апостолика исполняет, почти не скрывая недовольства, лишь по долгу службы.

И двух этих вестей было велеградскому владыке достаточно, чтобы понять: лучше ему к Марину, даже если вызовет, не спешить. А тут как раз подоспела и ещё весть. Если кто и вызовет его, то уже не Марин, а другой апостолик. Имя ему — Адриан III. Впрочем, и с ним Мефодию не довелось увидеться. На папскую кафедру Адриана III возвели 17 мая 884 года, то есть всего за год и четыре месяца до его неожиданной кончины, случившейся во время поездки к королю Карлу III Толстому, сыну Людовика II Немецкого. Об этом апостолике, как и об Иоанне VIII, существовало предание, что он умер насильственной смертью. Мефодия он пережил меньше, чем на полгода.

Труднее сказать, успели они или не успели вступить хотя бы в переписку друг с другом. До Велеграда ещё во второй половине 884 года могли поспеть воодушевляющие сообщения из Рима и Царьграда о первых поступках нового апостолика. Адриан III предпринял шаги для исправления грубых ошибок своего предшественника, допущенных в отношениях с византийским двором и константинопольской патриархией.

Мефодию и его сподвижникам очень хотелось надеяться на прочность этой самой недавней перемены к лучшему. Пусть в Риме возобновятся для начала хотя бы те настроения, которые они застали когда-то при старце Адриане II, тезоимените теперешнего папы.

Да, для начала — хотя бы! Мефодий поневоле был сдержан в оценках и ожиданиях. Он повидал уже не один самонадеянный рывок римской курии к первенству во всей Вселенской церкви. На его веку церковь Западная всё чаще впадала в какие-то воспалённые состояния, при которых проговариваются вслух прегордые мечты о собственной духовной исключительности. Не стало ли это следствием того, что у пап никогда не было для надёжной опоры кесарева плеча — мирского равновеса? То есть, императорская христианская власть ещё со времён Константина Великого как была, так и пребывает — для римской церкви, равно как и для всех. Но императоры далеко, на Босфоре,

а мирского величия хочется не вдали и для всех, а здесь, у своего плеча. Здесь, в вечном Риме, где всемирное величие сияло незаходящим солнцем при августях-язычниках. И потому снова и снова возникало желание поискать это самое плечо, надёжное и близкое. И уже нашли было при папе Льве, когда он самочинно, в порыве небескорыстной лести произвёл в императоры Карла Великого. И чего добились? Того, что теперь сразу несколько королей, наследников Карла, не могут поделить между собой земли мнимой “Римской империи”. Сами же папы то и дело испытывают неудобства от препирательств в семействе почившего Людовика. Не оставляет в покое курию и духовенство франкское, с его постоянными самоуправствами. Разве не пытались и Мефодия те самоуправники лишить власти, вручённой ему на ступенях папского престола?..

И вот курия мечется. То просят василевса, одного, затем другого о военной помощи против арабов в южной Италии. То капризно забывают о полученной поддержке, и василевс им уже не брат во Христе, а разбойник, покушающийся со своим патриархом захватить все болгарские церковные приходы... То снова учтиво ищут у Константинополя защиты от арабских морских пиратов.

Такая изнуряющая неуравновешенность в отношениях между двумя церквями не может, не должна длиться долго. Ни он, Мефодий, ни его покойный брат не предполагали, что на их веку необратимое уже обозначилось, что распри, невольными свидетелями и участниками которых они становились, из мелких трещин вот-вот превратятся в настоящие земные провалы. В конце концов, старый Рим не захочет навсегда смириться с физической кончиной своего имперского величия. Его церковь воззавидует величию Рима нового и продолжит строить своё грандиозное здание при одной лишь папской главе – без опоры на кесарево плечо.

... Не имея возможности в скорые сроки поставить перед новым апостолом вопрос о своём желаемом преемнике, владыка решил действовать пока что в пределах архипастырских полномочий. Его ответ ученикам о Горазде как о преемнике поначалу был дан, как можно догадываться, келейно. Но свой выбор ему следовало озвучить и во время проповеди за литургией, когда, по давно заведенному правилу, Мефодий обращался ко всему народу со словом о празднуемом торжестве или об услышанном сегодня Евангелии. Или же о наиболее важных событиях в жизни моравской церкви.

Он знал, что молва о его выборе быстро расстелется по всей Моравии, а кое-где даже обгонит архиерейское письмо, подтверждающее его волю и рассылаемое в славянских списках во все приходы, где служат его духовные дети.

Он понимал, что слух о предпочтении, которое он отдаёт Горазду, первым делом долетит до Нитры и, конечно же, возбудит ярое негодование Вихинга. И потому Мефодий без всякой отсрочки огласил с велеградской кафедры ещё одно своё архипастырское решение. Суровое, но необходимое, чтобы искоренить источник непрекращающихся церковных смут. Он не желает более терпеть на епископском столе в Нитре неисправимого еретика, искажающего догматы Вселенской Церкви, сочинителя клеветнических подделок, оскверняющего своим поведением образ апостольского служения. Он анафемствует Вихинга, изгоняя его из лона церкви.

И одно, и другое решения Мефодий не считал допустимым утаивать от апостолического престола и при первой удобной okazji постарался переслать в канцелярию папы Адриана III.

В те же дни стало известно, что Вихинг прикровенно отбыл из Нитры. Куда? В Баварию, к зальцбургским покровителям? В Венецию, к своему напарнику по козням против Мефодия? Или напрямиком в Рим?

Страстная седмица

У князя Святополка было три сына. Существует старое благочестивое предание о том, что однажды князь призвал к себе этих уже возмужавших княжат и положил перед ними обыкновенную крестьянскую метлу для уличного сора, состоящую из пучка перевязанных ближе к основанию прутьев. Князь спросил, может ли кто из сыновей переломить ее. Взялся один, напрягался так и эдак – не поддаётся. Попробовал второй – не ломается. Ничего не по-

лучилось и у третьего. Тогда князь развязал ее и переломил один прут за другим. “Вот так и вы, — сказал сыновьям. — Когда все вместе, в согласии, вас никто не одолеет. А когда каждый только за себя, так вас поодиночке и ломают”.

Наверное, ни один из сыновей не решился напомнить тогда отцу о старой насаде их семейной памяти, о которой они могли слышать, и не раз, вне родительских стен: согласие хорошее дело, но сам-то отец не захотел жить в согласии со своим дядей.

Эта притча, приписываемая Святополку, на самом деле — сюжет бродячий. В разных странах и даже на разных континентах живучее это сказание не раз исходило из уст почтенных отцов, преподающих сыновьям такую простую и вместе с тем мудрую истину. Вполне мог считать её своей и Святополк.

После возвращения Мефодия из Константинополя, князь, видимо, немало удивлённый тем, что владыка столь достойно принят был у себя в Византии, не был подвергнут там суровым карам за служение папскому трону (что предрекал Вихинг), старался больше не подчёркивать перед архиепископом пристрастий ко всему латинскому, а почаще заявлять о своём моравском и славянском родолюбии.

Вот и после исчезновения из поля видимости Вихинга Святополк даже с удовольствием заговорил о вреде раздоров в церковной жизни. Ученики Мефодия надолго запомнили улыбочивые укоризны князя-родолюбца, обращённые к владыке, а заодно и к ним: с меня, мол, неучёного, каков спрос, но вы же у меня тут все христиане, как и эти латинисты немецкие, тоже христиане, так что же вы нас, простецов, миротворению учите, а между собой христианского мира никак не заведёте?

Но при этом радетель о мире не мог скрыть выжидательной приглядки искусника, намеренного при любом исходе дел что-нибудь для себя выгадать.

Тем временем в приобретении земель князь, как и прежде, преуспевал. Уже и Паннонское княжество после смерти Коцела удалось Святополку выторговать у баварских маркграфов. Уже и владения свои именовал он не просто Моравской, а Великоморавской державой. Право же, она расширялась куда стремительней, чем соседняя Болгария.

Одна только забота с недавних пор нешуточно озадачивала князя, и кручиной этой он захотел поделиться с Мефодием. В слабозаселённые порубежья между его державой и болгарами с восточной стороны забрёл, а прямее сказать — вломился без спросу какой-то неизвестный доселе кочевой люд, прозывающий себя уграми. Откуда объявились и куда намереваются двинуться, неведомо, но доносят про них, что воинственны, злы, жадны, речью говорят никому не понятной, не разбирают ничьих прав и владений. И между их вожаками есть один, которого даже королём именуют. Через купцов, идущих своими всегдашними дорогами с востока и на восток, этот вожак, величающий себя королём, уже прослышал о мудром моравском наставнике веры и теперь зовёт Мефодия к себе для знакомства.

Что скажет владыка? Нужно ли ему отвечать на прихоть какого-то незнамого пришлеца? Как лучше по-христиански поступить? От этих угров, слышно, любой пакости можно дождаться...

Если по-христиански, то надо, помолясь, поехать. Так решил для себя Мефодий. Пусть и дорога далека, и хворей в теле не убывает, но почему же не обратиться? Ведь король этот зовёт его как христианина. Значит, о христианстве уже слышан. Христос всегда шёл, когда кто-то звал его для беседы или для помощи в свой дом. К сотнику шёл, к мытарям, к важному сановнику, к фарисею, к бесноватому — никому не отказывал. Как же и ему, старику, отступить теперь от царского пути?!

Да и время ли бояться за свою жизнь? У кого только не побывал, с кем только не виделся... Исполнял поручения трёх ромейских императоров, встречался и обсуждал судьбы Славянской Церкви с двумя римскими Папами, а святые мощи ещё одного Папы привёз вместе с братом в Рим; сиживал за восточной словесной трапезой перед хазарским ханом и его всевластным беком; шутивно возражал на суде немецкому королю; крестил в гостях сербку — жену чешского князя; говорил в лицо баварским епископам невыносимую для них правду; давал отеческие наставления славному моравскому князю, потом пытался и до сих пор старается учить уму-разуму другого... А однажды они с братом без всяких даже увещаний, лишь силою молитвы уго-

монили посреди степи наскочившую на них ватагу разбойных угров – так ему ли бояться новой встречи с уграми, даже если у них теперь и свой король завёлся?

Ничем не обидел его этот предводитель. Жадно распытывал владыку о вере, с завистью глядел на святые книги, в которых вера высказана для всех, кто пожелает услышать или прочитать. Огорчался, что нет ещё у его народа своих таких книг. Но зато есть желание не искать больше по свету иных земель, а осесть на этой и учиться у тех, кто тут мирно живёт, выращивать хлеб и выдерживать в бочках весёлое золотое вино. А на прощание просил владыку молиться о нём и приезжать ещё и ещё, по-дружески. Не меньше короля довольны были и купцы-переводчики, устроители беседы и пира, а значит, по их понятию, самые важные во всём этом событии люди.

Святополк не зря тревожился. Эти угры, как понял их намерения Мефодий, утомились гулять по свету, и вряд ли обильны народом настолько, чтобы состязаться в зверских подвигах с ордами, что приходили до них, с теми же гуннами или аварами. Они тут, пожалуй, и осядут, и укоренятся. На земле не жаркой и не студёной, а тёплой, как парное молоко или бродящее вино. И тогда Святополку, хочет ли, нет ли, а придётся потесниться. Или не впускать их, но тогда – воевать. Но воевать сразу на востоке и на западе, с уграми и немцами одновременно, – хватит ли сил?

Мефодий твёрдо стоял на том, что держава сильна не кровью, не одними лишь мечами и шлемами, даже не общей речью, а верой, исповедуемой родным словом. Для веры же нужно потрудиться несравненно больше, чем для того, чтобы меч выковать. Если ты крещён, и осенить себя умеешь крестом, и поклоны кладёшь до земли, и расторопно чмокаешь руку своему владыке или попу, то не думай, что уже всю веру стяжал. Ты ещё и на нижнюю ступень лестницы ногу не занес.

Никому не преграждён путь, никому и не закрыта дверь к вере – ни вору, ни убийце, ни блуднику, ни предавшему своих, ни кривляющемуся лицедею. Потому что Христос всем говорит: “Я – ваш путь, Я – ваша дверь”. Но и предупреждает: “Узок путь... тесны врата”.

Разумеешь ли, княже Святополче? Разумеют ли сыновья твои? Македонец полмира покорил, столько богов и божков по дороге собрал в свою кумирню, и всё вмиг рассыпалось. Где его полки, где царство, где сила? В бесславье, как в песок, всё ушло... А где Атилла? Он же здесь гулял, где мы с тобой беседуем, и Рим развалил до обломков, а где его сила? Бесславьем поросла... Но тебе, княже, разве не дан другой пример? *Сим победиши*, как победил некогда император Константин Великий. Иной победы, иной силы не сыщешь на Земле...

Мефодию, столько годы беседовавшему прямой и открытой речью – сначала по-гречески, а потом и по-славянски – с царём-Псалмопевцем, не было навыка, разговаривая теперь с князем, переходить на язык лести или утивых потаканий, к которым так приучен был властелин Моравии.

После разговоров с ним оставалась досада: да впрок ли они? А с тем подступала к сердцу слабость. Или это был признак неумолимого старения, о котором тот же Псалмопевец с мягким сокрушением сказал: дни лет наших – семьдесят лет, через силу восемьдесят, а сверх того – болезнь и труд; когда же придёт кротость на нас, ею научимся.

Но до поры не ведаешь, когда он прозвучит, голос, доступный только твоему слуху. И прозвучит ли он для тебя? У брата его был такой слух. Мефодий, по крайней мере, дважды в том убеждался: когда в Херсонесе Философ предрёк скорую кончину архиепископа и когда в Риме сам вдруг разболелся и вскоре попросил постричь его в монашеский чин.

Но можно и болеть, и сильно недуговать, а всё не слышать Божиего глаза. Можно изойти в напряжённом ожидании, но голоса всё не будет. А достоин ли ты, чтобы тебе сообщены были твои сроки?

Владыке нездоровилось в утро Цветной недели, когда Господь входит в Иерусалим и весь город радостно высыпает на улицы встречать Грядущего, и дети устилают камни мостовых молодыми побегами пальм, а здесь, в Велиграде, – ветками распушившейся серебристой вербы. И столько детского щебета в пригретом апрельском воздухе, и таким победным гимном раздаётся вширь и ввысь:

*Величаем Тя, Живодавче Христе,
Осанна в вышних,
и мы Тебе вопием:
благословен Грядый во имя Господне!*

Как же в такой день не быть со всеми? И он превозмог себя, пришёл, вступил в собор, как в переполненный гудящий улей, замер в алтаре перед престолом.

И тут – расслышал.

Он достоял службу до конца и произнёс благословение – своему кесарю, князю, и всем здесь служащим, поющим и предстоящим. И после того сказал бывшим около него, чтобы они от этого часа не оставляли его молитвенной стражей и попечением. И даже срок свой назвал: “Стрезете мене, дети, до третьего дне”.

И потом, в понедельник и во вторник Страстной седмицы, когда лежал на своём твёрдом монашеском ложе, всё самое сокровенное, таинственное, что пелось в храмах, звучало и в нём. Это ведь были его с братом и первыми учениками его самые ранние славянские начатки. Но он уже не различал, чьи именно начатки пелись. Его наполняло чувство, что это пение звучало в мире ещё до них и будет звучать всегда.

*Се, Жених грядет в полунощи,
и блажен раб, его же обрящет бдяща...*

Близость величайшего события из всех, когда-либо происшедших на Земле для смертных людей, переполняла его трепетом, потому что видел свою неготовность быть допущенным к этому самому торжественному из торжеств.

*Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный,
но одежды не имам да вниду в онь;
просвети одеяние души моя, Светодавче,
и спаси мя.*

Но всё подсказывало, что в Великий Четверток чудесный страстной чин чтения Двенадцати Евангелий отслужен здесь будет впервые без него...

И что же, Мефодие, и что же?! Когда-то этот чин страстной недели впервые был прочитан и без брата твоего, которому каждая буква, каждый звук принадлежали в том чтении. Но так прочитан, будто и Кирилл стоял с ними вместе, читал и пел. Так и с тобою будет. Прочитают без тебя, но с тобой. Ты всё отдал, что мог, и не тревожься. Что бы без тебя ни случилось, твои дети всё прочитают, всё споют и исполнят. Всё продлится, как вы с братом хотели. И плащаницу украсят, и на пасхальный ход выйдут под звёзды с хоругвями, и с воскресным целованием друг друга обымут, и тебя проводят с пением до земли, и душа твоя в светлых одеяниях внидет в чертог Спасителя нашего. Иного не будет, ибо ты прошёл царским путём и не сбился.

... В среду на рассвете он тихо проговорил: “В руце Твои, Господи, душу мою вьлагаю”. И с тем мирно почил, поддерживаемый священниками. Гроб с его телом, приготовленным к отпеванию, внесли в соборную церковь, где на левой стороне от алтаря решено было после прощания предать почившего земле. За литургией и панихидой читали и пели на греческом, на латыни и на родном своём языке, ради которого были все его с братом Кириллом вдохновения, испытания и труды.

*Люди же бесчислен народ собрався,
проважаху со свещами плачущееся
добра учителя и пастыря,
мужеск пол и женьск, малии и велиции,
богати и убозии, свободнии и раби,
вдовиця и сироты, страньнии и тоземьци,
недужнии и здравии,
вси бывшааго всяческо всем,
да бы вся приобрел.*

*Ты же свыше, святая и честная главо,
молитвами своими призирай на ны,
желающая тебе избавляй от всякоя напасти,
ученикы своя и учение пространяя, а ереси прогоняя,
да достойно звания вашего живше zde,
станем с тобою, твое стадо,
о десную страну Христа Бога нашего,
вечную жизнь приемлюще от Него,
Тому же есть слава и честь в веки веком.
Аминь.*

Так, по “Житию Мефодия”, проводили моравляне своего владыку. Агиограф – а им был Климент, один из способнейших учеников солунских братьев, в будущем архиепископ Охридский, – прибег в своём описании, как видим, к языку особому, передающему трепет, сердечное смятение тысяч людей, вдруг лишившихся такой мощной духовной защиты. Обычно строгий, сдержанный, даже скуповатый в обращении со словом, Климент будто решил напомнить напоследок, что люди провожают ещё и подлинного поэта, потому что только поэт был способен оставить им в дар славянскую Псалтирь, многие другие вершинные образцы христианской поэзии. Как и эту песнь прощания и надежды, что сейчас звучала под сводами собора и вне его стен:

*Со святыми упокой, Христе,
душу раба Твоего, новопреставленного Мефодия,
идеже несть болезнь
ни печаль, ни въздыхание,
но жизнь бесконечная.*

Погром. Бегство. Победа

“Житие Мефодия” завершается описанием проводов владыки, вылившихся поистине во всенародный сбор верных ему духовных чад. Тогда же было подсчитано, что на панихиду сошлось и съехалось отовсюду около двухсот одних только старших учеников – священников и дьяконов. А сколько прихожан стеклось от ближних и дальних градов и весей? Над всеми плачами и скорбями плескалась в те дни пасхальная радость о воскресшем Христе.

Похоже, Климент и принялся за жизнеописание Мефодия вскоре после его кончины, когда обострённая утратой память помогала всему осиротевшему содружеству учеников заново переноситься в дни испытаний, преодоленных бок о бок с владыкой. И когда всем им так хотелось надеяться на то, что сама картина благодатного прощания Моравии со своим кормчим веры наконец-то усюветит двоедушных. А недоброжелателей угомонит – навсегда или хотя бы надолго. Утешение находили и в поминальных службах над местом захоронения, куда стекался народ отовсюду*.

В сентябре, через полгода после смерти Мефодия, в Риме произошло избрание нового апостолика. Им вместо скорпостижно скончавшегося Адриана III стал Стефан V. Одним из тех, кто с особым нетерпением ждал этого избрания, оказался анафемствованный Мефодием бывший епископ Нитры Вихинг. Надо полагать, он уже вооружился доводами, подтверждающими совершенную незаконность единоличного и самоуправного отлучения его от церкви, которое он претерпел от покойного архиепископа, не имевшего никакого права на то, чтобы самовольно объявлять своим наследником на кафедре одного из собственных любимцев – Горазда.

Вряд ли Вихинг успел сразу же пробиться на приём к апостолику. Только в самом конце 885 года Стефан V отправил буллу в Велеград, адресованную князю Святополку. Кроме того, в Моравию отбыл с письменными инст-

* В XX веке чешские и словацкие археологи предпринимали неоднократные попытки разыскать место захоронения Мефодия. К сожалению, экспедиции оказались безуспешными. Главной помехой послужило отсутствие непротиворечивого местоположения Велеградского кафедрального собора. К тому же, возможно, останки первого архиепископа Великой Моравии были перезахоронены его сподвижниками, как только возникла опасность их осквернения противниками Славянской Церкви.

рукциями папский легат епископ Доминик в сопровождении двух священников. Им было поручено рассмотреть причины и суть споров, возникших среди местного духовенства, в том числе по поводу искажения Символа веры прибавкой *filioque*.

Стефан в патетических тонах благодарил князя за верность святому престолу (иногда эту патетику объясняют тем, что совсем не бедный в ту пору Святополк, судя по всему, отправил, по совету Вихинга, в Рим, на имя нового апостолика, щедрю помощь, прослышав о всеобщем голоде, поразившем полуостров). Довольно подробно писал папа о том, что римская церковь не считает нужным вовлекать людей, не обученных теологии, в обсуждение сложных догматических тем, таких, как вопрос об исхождении Святого Духа.

Но письмо папы и инструкции, вручённые епископу Доминику, далеко не во всех подробностях совпадали. Это дало повод исследователям предположить, что и на сей раз, как и несколько лет назад, были произведены подтасовки. И эти фальсификации, случившиеся при составлении документов или их оглашении на месте, снова исходили от расторопного Вихинга.

Однако в любом случае и булла папы, и переданные им инструкции в одной точке сходились вполне. В храмах Моравии категорически запрещалось служить литургии «на местном языке». Тем самым Стефан V отменил благословение на славянские церковные службы, которое пять лет назад Мефодий вернул после встречи с папой Иоанна VIII.

Новый папа отменил церковное отлучение епископа Вихинга и возвратил ему кафедру в Нитре. Что же до Горазда, то апостолик, у которого, возможно, имелся письменный запрос Мефодия, адресованный ещё Адриану III, посчитал, что принять по такому щепетильному делу окончательное решение можно только в Риме, в присутствии самого священника.

Но Вихинг был уже на месте и снова действовал с опережением любых булл и инструкций. Два жития, написанных много позже и посвящённых самому Клименту Охридскому и ещё одному из ближайших сподвижников Мефодия, монаху Науму, рисуют поистине зловещую картину беспощадного погрома кирилло-мефодиевской духовной миссии, учинённого в Великоморавском княжестве в 886 году при попустительстве Святополка.

Началось всё как будто вполне благопристойно – с открытого обсуждения вопроса об истинном понимании Символа веры. Князь Святополк присутствовал на Соборе, но в полемике участвовать отказался, сославшись на свою неготовность к разумению догматических различий, предложенных сторонами. Он лишь предложил решать суть спора так, как принято было всегда в моравском мирском суде, – произнесением клятв. В Пространном житии Климента Охридского князь выражает своё условие так: «...кто первым явится и принесёт клятву, что он верует хорошо и правоверно, тот и будет, согласно моему суду, безупречным знатоком веры, тому и передам я Церковь и вручу, по справедливости, церковное священство»*.

Автор жития к Святополку относится крайне недружелюбно и не жалеет для него чёрной краски, но князь в этой своей речи вполне узнаваем. Опять всё те же хорошо известные приёмы лукаво-простоватого игрока, так любящего наблюдать за дракой со стороны.

Похоже, сторонники Вихинга были о принесении клятв предупреждены заранее. Собственную клятву они кинулись оглашать перед князем и всем собранием сейчас же, едва выслушав до конца его выступление.

«Суд» и послужил знаком к расправе. Задним числом говорили, что, присутствуй сам Святополк до конца при событиях следующих дней, он, возможно, не допустил бы такого разгула страстей и жестокости, какой учинило франкское духовенство. Но вскоре после ареста и заточения в тюрьму нескольких известных учеников владыки Мефодия, в том числе Горазда, Климента, Наума и Ангелария, князь покинул город по каким-то своим, как всегда, неотложным делам. Не всё же сидеть здесь и выслушивать стенания защитников славянского богослужения, закованных для острастки в железа.

В городское узилище, на испытание голодом, холодом и на пытки зачинщики погрома кинули тех, кто постарше. До двухсот молодых священников, дьяконов и чтецов они отобрали на продажу. Купцы-евреи не поспешили,

* См.: Флоря Б. Н., Турилов А. А., Иванов С. А. Судьбы Кирилло-Мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. СПб., 2000. С. 185.

зато впервые повезли в Венецию на рынок рабов такую крупную партию славян-грамотеев.

В том же году на невольничьих торгах в Венеции оказался и пресвитер Наум, хотя по возрасту он был далеко не молод. В житии его сказано, что когда-то они с Климентом посетили Рим в дружине Кирилла и Мефодия, и Папа Адриан “и Климента и Наума с прочими свещенници и диаконы рукоположи”. Значит, до прибытия в Рим Наум вместе с учителями уже пожил в Венеции и имел представление о размахе здешних работорговых сделок.

Только теперь не он наблюдал этот процесс со стороны, а к нему приценивались. И уже продан был и ждал неизвестной дороги, но “по строению Божию” оказался на торгу знатный ромей из Константинополя, исполнявший в городе поручение самого царя Василия. Он быстро различил по облику Наума и по разговору с ним и другими невольниками из Моравии, что перед ним несчастные особого рода-племени. Этот царёв муж, не мешкая, выкупил нескольких учеников Мефодия и отвёл их на свой корабль, отходящий в сторону Босфора.

Так Наум оказался в Константинополе. О спасённых из неволи было доложено царю Василию и, надо полагать, патриарху Фотию. Вскоре же нашлись труды и для этих знатоков славянской церковной службы. Кто-то остался в столице, а Наум уехал на служение в Болгарию, где через какое-то время его ждала ещё одна подобная чуду встреча.

...Вовсе не милосердием победителей можно объяснить то, что однажды Климент и ещё несколько страдальцев были всё же выпущены из велеградского узилища. Их дальнейшее пребывание в застенке слишком будоражило городских жителей. Ропот моравлян, возмущённых жестокостью насильников, грозил перерасти в открытое неповиновение. Подручные Вихинга не решились в отсутствие князя и его воинства пролить кровь тех, кого моравляне уже открыто почитали как мучеников за веру и новых чудотворцев, у которых окопы в тюрьме уже не раз сами спадали с рук.

Отряду немцев-стражников было приказано тайно вывести нескольких заключённых за город. Измождённых побоями и голодом людей, чтобы ещё более унижить и опозорить, раздели догола. Подталкивали сзади копьями, представляли к шеям мечи. Будто развлекались напоследок, перед тем как убить. Дул свирепый ветер, какой тут бывает в конце зимы, перед началом весны. Это запомнилось Клименту как признак того, что ведут в сторону большой реки. Ветер глодал их тела, кости ныли немилосердно. Непогода донимала и стражников. Спустя некоторое время они перестали понукать и *стращать* пленников. Похоже, сообразив, что ветер доделает своё дело и без них, *во-яки* развернулись и спешным шагом ушли в сторону города.

Тогда, уверясь в своём нежданном освобождении, чуть прибавили шагу и Климент со спутниками. Или им только казалось, что они спешат? Положение было – плачевней некуда. Кто их в таком облике не побрезгует пустить в своё жильё, кто не пожалеет им самой заваливающей одежды да охапки соломы для ночлега?

Когда добрались, наконец, к хмурому, в мурашках, Дунаю, кое-как смастерили плот, и, собрав сухие стволы, связав их липовыми лыками, переправились на другой берег – всё подальше от недавней своей беды. И теперь направление было одно – приречными тропами и дорогами, всё вниз и вниз по течению. А там, у впадения в Дунай Савы, на каменном кряже стоит малая крепость Белград, и в ней уже приходилось им бывать вместе с Мефодием, а ещё раньше – и вместе с Философом. Теперь крепостью владеют болгары, вот к ним-то, болгарам, и надо идти. Так завещал Мефодий: случись что, надо уходить в Болгарию, к князю Борису-Михаилу, в его престольную Плиску.

И они дошли до Белграда, а оттуда добрались и до Плиски. Все были приняты и обласканы князем Борисом. Климент вскоре получил под своё церковное начало целую область, а позже обосновался в невеликом Охриде, на берегу Белого озера, где построил монастырь, открыл школу, книгописную и иконописную мастерские, – всё по образцу и примеру незабвенных своих учителей. Тут и встретился он с пресвитером Наумом.

Разве это не чудо – их встреча? Слишком много делалось на их веку, чтобы никогда этим двоим, да и всем остальным ученикам больше не видеть друг друга. Пресвитер Наум принял иноческий постриг и основал монастырь с церковью Михаила-Архангела в нескольких километрах от обители Климента,

“на исходь Белаго езера”, как сказано в его житии. К Охридской дружине продолжателей кирилло-мефодиевского дела присоединился и Ангеларий. Ещё один ученик, из способнейших, Константин Преславский, служил и творил в новой столице Болгарии, построенной сыном Бориса-Михаила царём Симеоном, — в Преславе.

Личности учеников, уцелевших после разгрома славянской миссии в Моравии, связанные с ними судьбы средневековой письменности в Болгарии никак не заслуживают скороговорки. Но это должны быть отдельные объёмные главы в истории становления и развития славянской православной культуры.

Здесь же выход за рамки биографий Константина-Кирилла и Мефодия допущен лишь для того, чтобы хоть немного понятней стало, какая невероятная жизнестойкость понадобилась тем немногим, кто уцелел после кончины великоморавского архиепископа.

Впрочем, разве и сами солунские братья не испытывали при жизни почти постоянных угроз своему славянскому замыслу и его осуществлению? По сути, в их судьбе есть две строки, до сих пор не поддающиеся никакому рациональному прочтению. Строка первая: как всё же они успели сделать то, что ими сделано? И строка вторая: как то, что они сделали, не погибло почти сразу, а сохранилось до наших дней?

Вряд ли поддались эти строки и мне в этом рассказе. Но когда я вхожу в православную церковь в любом городе или селе России, когда слышу псалмы в быстром, но отчётливом исполнении чтеца, или голос дьякона, возглашающего стихи великой ектении, когда священник в алтаре зачитывает Евангелие или певчие на клиросе доносят, будто из-за облаков, сокровенное “Иже херувимы...”, когда весь храм согласно запеваёт “Верую...”, — ответы на невыясненные вопросы открываются сами.

Эти люди, жившие так давно, больше, чем самих себя и чем друг друга, больше, чем родных своих и друзей, возлюбили Христа, Сына Божия и Сына человеческого. И эту любовь свою они так сильно захотели выразить на языке, который с детских лет знали, а возмужав, познали в совершенстве и полюбили как свой родной, что им удалось совершить то невозможное, что они совершили.

Евангельский Христос, благодаря их любви заговоривший по-славянски, прошёл ко всем, кто с нетерпением ждал его как единственного Спасителя своего. Поэтому богослужебный язык, созданный ими, не погиб сразу, жив сегодня, не престанет звучать и до скончания веков.

Ничто в этой священной победительной речи не изменилось, каждый стих, каждая строка и буква, каждый смысл стоят непоколебимо. В любую минуту церковной службы святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий молятся и дышат рядом с нами.